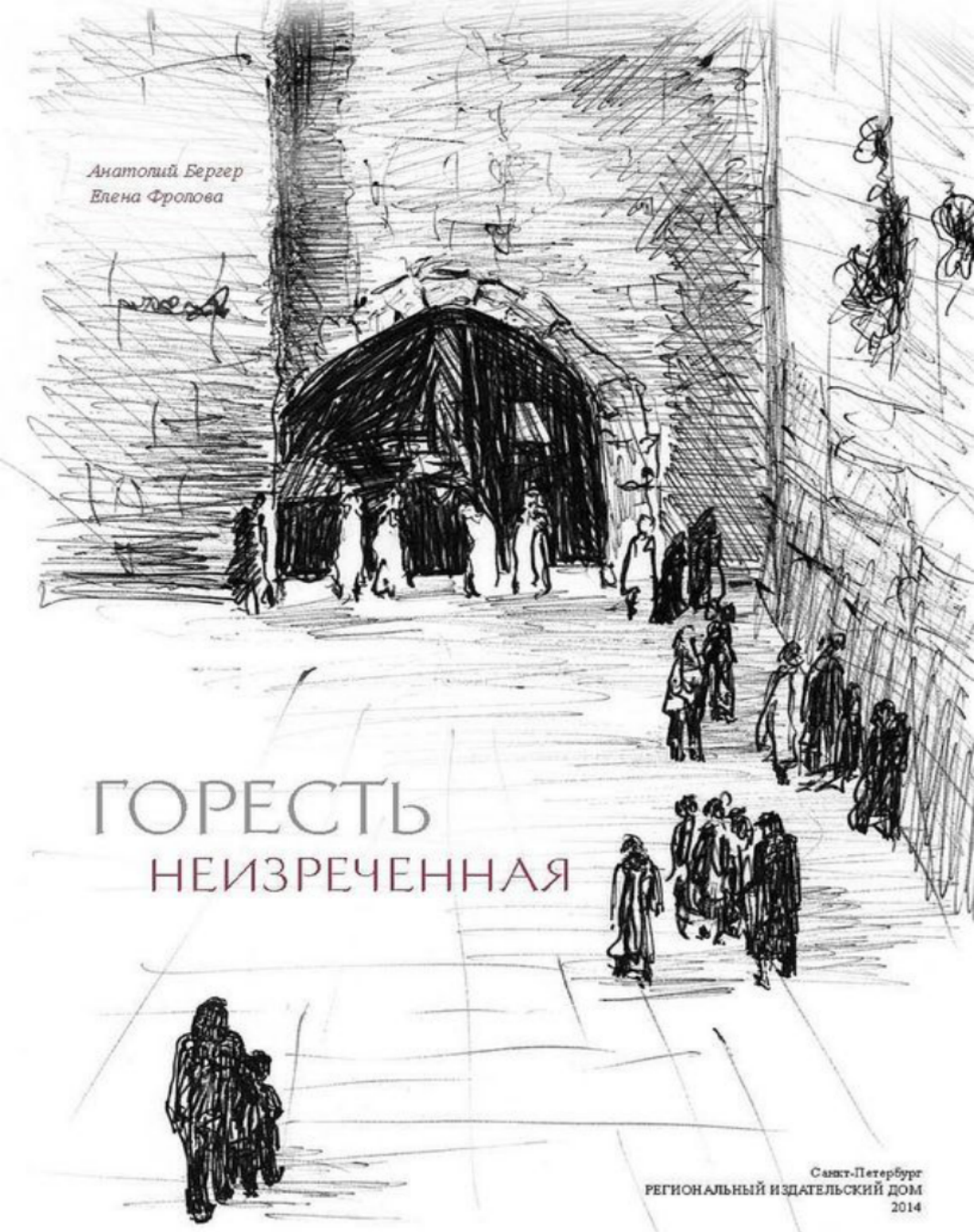
Анатолий Бергер
Елена Фролова



ГОРЕСТЬ НЕИЗРЕЧЕННАЯ

Санкт-Петербург
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
2014

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Горесть неизреченная» — одиннадцатая книга поэта Анатолия Бергера и вторая книга его жены — театроведа и журналиста Елены Фроловой. 15 мая 1959 года, через три месяца после свадьбы Бергер был арестован и осуждён за свои произведения по статье 70 УК РСФСР на 4 года лагеря и 2 ссылки. В этой книге нашёл отражение «личный ГУЛАГ» поэта — рассказы и воспоминания о подавлении в стране всего живого и науке выживания. Судьбы, судьбы. Солагерники, грузчики из сибирского посёлка Курагино. Живыми мазками на страницах запечатлены картины детства и юности, жизнь после срока, с новым «сроком» — запретом на печатание. Заметки Елены Фроловой о её «горести» по ту сторону колючей проволоки, о ссылке в Сибири, которую она разделила с мужем, о детстве и юности во Львове, о новой жизни после перестройки.

- Анатолий Бергер, Елена Фролова
  -
  - Экзамен на человека
  - Состав преступления
  - Арест
  - Двенадцать сокамерников
  - Свидетель
  - Лагерь
  - Этап
  - Сибирь
  - Пизанская башня
    -
    - Горесть неизреченная
      -
      - I
      - II
      - III
      - IV
      - V
      - VI
      - VII
      - VIII
  - Елена Фролова
  - По другую сторону проволоки
  - Лагерные свидания
  - Валька

- ○ День рождения тёти Нади
- ○ Котовская история
- ○ У баптистов
- ○ Рядом с Николой
- ○ Автобиография Анатолия Бергера
- ○ Дедушка и бабушка
- ○ Автобиография Елены Фроловой
- ○ Перебирая старые фотографии

Анатолий Бергер, Елена Фролова
Горесть неизреченная

А. Бергер. текст, 2014
Е. Фролова, текст, 2014
В. Киселёв, рисунки
© ЗАО «РИД», 2014

Экзамен на человека

Среди доверенных летописцев народного горя и авторы этой книги. Начал Александр Солженицын. Следом Варлам Шаламов, Юрий Домбровский и другие.

Личный ГУЛАГ Анатолия Бергера начался с апреля 1969 года и продолжался до декабря 1974 года.

В книге — с первых строк стихов и прозы — это голоса из глубин народных, это говорит народ от всей души и неугасимой памяти.

Конец 60-х годов. После недолгой «оттепели» начались новые «заморозки». Арест Синявского и Даниэля. Жестокий запрет наложен на правду. Безжалостно пресекалось настойчивое стремление разобраться как и почему ЭТО произошло в России, почему ЭТО происходит сейчас. Елена Фролова говорит в заключительных главах книги «Что за такие мысли не похвалят мы, разумеется, знали. Но Синявский и Даниэль печатали свои произведения за границей».

А оказалось, что и стихи в тетрадях в письменном столе могут стать составом преступления, что за них Анатолия Бергера как особо опасного преступника приговорили по статье семидесятой УК РСФР к 4 годам лагеря и 2 годам ссылки.

Книга прозы начинается с описания допроса. А там — погружение — и надолго в тюремную жизнь. Стихи сопровождают этот сюжет с начала и до конца.

Бытовое точное изображение процедуры ареста, лаконичные, но сильные и глубокие портреты сокамерников. Это особая порода людей, выведенная в советских условиях. И это особая — советская ситуация, когда почти любой мог бы оказаться на этом месте.

В лагере автор увидел более подлинный мир, чем на воле. И геройство не в том, что отсидел, а в том, как сидел.

В повествовании А.Бергера самое ценное — это личная, «лирическая» документальность. Она проходит через всю книгу. Поразительно глубокое нравственное понимание и сострадание автора при встрече с литовцами. Чувство «трагической партизанщины обречённого народа», понимание тех, кто отстаивал свободу против насилия. Это открывает трагический, но спасительный путь: нужно быть людьми и в лагере! Лагерь — это путь иной судьбы, но в чём-то проверяющий истины жизни.

И в то же время «сама неестественность подобного человеческого поселения, этого «усечённого» бытия порождает в душах людей фантастическое и призрачное, изгибает психику. Я

и себя ловил иногда на таких изгибах», — пишет Анатолий Бергер.

Многие события российской истории, хоть и неназванные, проступают за сюжетом о гибели душ человеческих. И сколько горькой, выстраданной правды в этих судьбах, покалеченных историей. Чуткая и отзывчивая наблюдательность, сострадание, а не только осуждение не выдержавших испытаний. «Это тоже была Россия — тёмная, мрачная, злобная, жалкая, сходящая на нет». Это очень глубоко и точно написано. Умение видеть вглубь — вот что важно.

Главная мысль, с которой нельзя не согласиться: лагерь на поверку оказывается концентрацией современного мира, грубо и открыто высвечивая то, что бродит в сумерках души нынешнего человека.

Цитировать хочется с каждой страницы. Порою проза переходит в социально-психологическое исследование. Потом снова перед нами дневник наблюдений, встреч.

И тут хочется сказать о том, что книга Анатолия Бергера и Елены Фроловой — это «опыт» преодоления, это школа стойкости, это погружение в спасительную «энергетику» жизни. Никоим образом не капитуляция перед любым «многоопытным» насилием. Но духовное, душевное противостояние ему.

Вот почему сюжет этой книги надо прослеживать до конца.

Этап. Бергера как особо опасного преступника должны были содержать отдельно от уголовников. И всё-таки уголовный мир открывался полнее. И у автора — с одной стороны — «ужаснее в жизни своей я ничего не встречал. Вот что люди могут сделать с людьми». И — на той же странице — из души возникшее светлое желание писать стихи. Поиски карандаша в камере — одно из лучших мест в книге. «Конечно, его не было. Но душа моя взмолилась всей силой о карандаше. Господи, как я хотел найти его! Под кроватями, среди тёмных, цепких их пружин, на батарее, на окне, на столе, под столом… Ведь нужно же мне! И потрясён был до глубины сердца, вдруг увидев огрызочек карандашный в проёме между одной из ножек стола… Я долго хранил его… Несколько стихов в пути начирикал я этим карандашиком». Эти стихи тоже есть в книге.

Какое словесно воскрешенное переживание, как это искусно и захватывающе.

Сибирь — трудная и много-разнолюдная. И опять умение слышать речь других, помнить и ценить её. Автор и сам владеет речью родной, настоящей.

И снова — стихи. И после них «О Сибири вспоминать не в печаль, хоть и ссыльная и чужая, а вошла в душу».

Люди «на воле» сопротивляются насилию сверху. Например, не все хотят быть «стукачами». Хотя это порой очень трудно: идёт жестокое внушение «круговой поруки подлости».

И всё же это воля. И побеждает в ней душа народная.

Да, за давними десятилетиями, за отдалёнными от наших дней судьбами не так много и переменилось. Лишь открытые политические противоречия заменились чаще всего искушенными товарными, приспособленческими, потребительскими.

У книги есть несколько источников: и непосредственные переживания, и взгляд в пространство жизни за пределами тюремной камеры, и собственное истолкование судеб на этом скрещении миров.

Автор, по службе выполняющий должность страхового агента, встречаясь со многими, видел многое, разное, незабываемое. Видел, как сопротивляется народ своим долготерпением чиновничьему насилию. «Всё это жаль разматывать в мимолётных записках, об этом хочется писать подробно… Надеюсь, когда-нибудь я это сумею». И мы, читатели, тоже надеемся. И всё же — немало сказанного тоже «полновесно». Похоже, сумел-таки!

В целом текст производит такое впечатление, потому что он написан точными пережитыми словами, не словом — а хочется сказать — явлен вживе, воочию. Это великолепная проза — горькая и точная.

…Вот так приближается Анатолий Бергер к завершению:

«Через несколько месяцев в декабре кончилась моя ссылка. Ленинград превратился в явь».

И тут в сюжет книг вступает жена Анатолия Бергера Елена Фролова. Тут её взгляд на пережитое — «по другую сторону колючей проволоки».

«16 января 1969 года мы поженились… А 15 апреля пришли ОНИ…» И дальше о том, как гэбисты состряпали «Дело» Бергера. «Не истина устанавливалась, — пишет Елена Фролова, — доводы абсолютно ничего не значили для следователя».

Весь текст Елены Фроловой (особенно допросы в Большом Доме) — это документ времени. Мучительность лагерных свиданий. Сибирские встречи. Всё это очень достоверно, точно, выразительно. И просто.

«Поэма «Горесть неизреченная» и две автобиографии авторов — тоже судьбы и тоже время.

И последнее, что нужно сказать об этой книге. Нашему времени нужна целительная правда о пережитом. Путь каждого из нас, путь народа и человека продолжается. И на этом пути опыт Анатолия Бергера и Елены Фроловой спасителен. И поэтому необходим каждому. А нас — много!

В.Акимов,
доктор филологических наук

Состав преступления

СТАТЬЯ 70. Антисоветская агитация и пропаганда

Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва Советской власти либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно распространение либо изготовление или хранение в тех же целях литературы такого же содержания — наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до семи лет и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или ссылкой на срок от двух до пяти лет.

Уголовный кодекс РСФСР

Кнут солёный, жаровня, дыба,
Да скрежещет перо дьяка.
И за то, знать, Руси спасибо,
Что стоит на этом века.

Что её — волчий взгляд Малюты,
Беспощадная длань Петра,
И гражданские злые смуты,
И советских казней пора.

Что сынов её — пуля-слава,
Вышка лагерная — судьба,
И приветствовала расправы
Раболепная голытьба.

Но сынам ли считать ушибы,
Им ли слёзы лить на Руси?
Ох, спасибо же ей, спасибо,
Спаси Бог её, Бог спаси.

1966

Декабрист

Отчизны милой Божья суть,
Я за тебя один ответчик,
Легко ли мне себя распнуть
Той, царской, площадной картечью?
Легко ли на помосте том
С петлёю скользкою на шее
Ловить предсмертный воздух ртом,
От безысходности шалея?

Легко ль в сибирских тех снегах,
В непроходимых буреломах
Знать, что затерянный мой прах
Не вспомнит, не найдёт потомок?

Легко ль провидеть, что пройдут
Года, пребудут дни лихие.
Нас вызовут на страшный суд
Дел, судеб и мытарств России,

И нашим именем трубя,
На праведном ловя нас слове,
Отчизна милая, тебя
Затопят всю морями крови.

Свободу порубив сплеча,
Безвинных истребят без счёта,
И снова юность сгоряча
Возжаждает переворота.

Легко ль нам знать из нашей тьмы,
Когда падёт топор с размаху,
Что ей пример и вера мы,
И мы же ладили ей плаху.

1966

Эмигрантам

Вот надписи надгробий,
Посмертная трава,
Родной земли подобье,
Но нету с ней родства.

В её круговороте
Среди ростков, корней,
Пути монаршей плоти
И голубых кровей.

Изгнанья жребий страшен —
Кровь между строк видна:
«За честь России павшим
В крутые времена»,

Когда в слепом размахе,
всё дотла
С наганом и в папахе
Судьба России шла,

Лихи её порядки —
Нужда, неправда, тьма,
А побеждённым в схватке —
Чужбина, смерть, тюрьма.

Пришлось с чужим народом,
В чужом варясь котле,
«Под чуждым небосводом»
И на чужой земле

Испить Христову чашу…
Но светят строки те:
«За честь России павшим…» —
На мраморной плите.

1966

* * *

Народовольческую дурь
Забудь, великая держава,
Побалагань, побалагурь,
Твои ведь сила, власть и право.

Ничьё перо уж не клеймит
Устои нового порядка,
Сей грандиозный монолит
Не тронет пуля иль взрывчатка.

Нет прокламаций, баррикад,
Нет эшафота над толпою,
Пустеет грозный каземат
Над невской сумрачной водою.

Колоколам уж не греметь,
И церковь изредка маячит,
Монарх, преображённый в медь,
Навек теперь в былое скачет.

Всё, как написано в трудах
Вождей, и доводы на всё есть —
Сперва за совесть, не за страх,
Потом за страх, а не за совесть.

Зато ни штормов и ни бурь,
Хоть лагеря, расстрелы, пытки…
Что ж, не ропщи, ведь ропот — дурь.
России прошлой пережитки.

1966

Народное

Раскулачили страну —
Хоть в кулак свисти,
И на ком искать вину,
Господи, прости!

Нависали над страной
Грузные усы,
Стал грузин всему виной,
Господи, спаси!

Русь в бараний рог согнул,
Страхи да суды,
Дым заводов, грохот, гул
Стройки и страды.

Всё на жилах кровяных,
На седьмом поту,
Сухарях да щах пустых,
Аж невмоготу.

Коли слово поперёк —
Умолкай в земле,
Властью был отвергнут Бог,
Идол жил в Кремле.

Ох, Россия, край-беда,
Смутен путь и крут,
И тридцатые года
За спиной встают.

1966

* * *

Твою красу святую
В те дни предав огню,
Ярясь, напропалую
Губили на корню.

На всю страну, в охотку
Ей вышибая дух,
Надсаживая глотку,
Тот красный пел петух.

И в пламени и вое,
Свершая самосуд,
Шёл с пьяной матроснёю
Мужицкий тёмный люд.

Над родиной сожжённой
Глумясь, как упыри,
Рубили в прах иконы,
Крушили алтари.

Ломили до победы,
Костили, били, жгли
Всё то, что их же деды
Когда-то возвели.

1968

* * *

Эсеровский переворот
Военною грозой гремел,
В нём стук копыт и пуль полёт,
Атаки крик и артобстрел.

В глухой ночи штыки застав,
На тёмных улицах войска,
В руках восставших телеграф,
Электростанция, ЧЕКА.

И поруганью предан Брест,
Вожди эсеров у руля,
И взят Дзержинский под арест,
И час до взятия Кремля.

Неужто ночь и пушек гром —
Судьба России на века?

Под чьим ей гибнуть сапогом —
Эсера иль большевика?

1968

Памяти Клюева

Страну лихорадило в гуле
Страды и слепой похвальбы,
Доносы, и пытки, и пули
Чернели изнанкой судьбы.

Дымились от лести доклады,
Колхозника голод крутил,
Стучали охраны приклады,
И тесно земле от могил.

И нити вели кровяные
В Москву и терялись в Кремле,
И не было больше России
На сталинской русской земле.

И Клюев, пропавший во мраке
Советских тридцатых годов,
На станции умер в бараке,
И сгинули свитки стихов.

Навек азиатские щёлки
Зажмурил, бородку задрав,
И канул в глухом кривотолке,
Преданием призрачным став.

1967

* * *

Бессеребренник-трудяга
В полинявшем пиджачке
И без курева — ни шагу,
Ты со мной накоротке.

И с глубокою затяжкой,
Весь в мутнеющем дыму
О былой године тяжкой
Говоришь мне потому,

Что кровавой крутовертью
Был закручен и кругом
Видел страх, аресты, смерти,
Ложь на истине верхом,

И усатого владыки
Костоломный стук подков,
И как все его языки
Славили на сто ладов,

Слышал. И руками машешь,
С криком дёргаешь плечом,
Весь в дыму и пепле пляшешь,
Что, мол, сам был ни при чём,

Что пора минула злая,
И враги клевещут, лгут,
Что нельзя судить, не зная,
Есть на то партийный суд,

Что вернуться к прошлым вехам
Не придётся. Стон умолк,
Но сломать хребтину чехам,
Как сломали венграм — долг,

Что глупа к свободе тяга.
Вновь рассыпался в руке
В прах окурок. Эх, трудяга
В полинявшем пиджачке.

1968

* * *

Знаю, дней твоих, Россия,
Нелегка стезя,
Но и в эти дни крутые
Без тебя нельзя.

Ну, а мне готова плаха
Да глухой погост

Во все дни — от Мономаха
И до красных звёзд.

И судьбины злой иль милой
Мне не выбирать,
И за то, что подарила —
В землю, исполать.

Кто за проволкою ржавой,
Кто в петлю кадык —
Вот моей предтечи славы
И моих вериг.

Не искали вскользь обхода,
Шли, как Бог велел,
И в преданиях народа
Высота их дел.

Погибая в дни лихие,
Оттого в чести,
Что не кинули, Россия,
Твоего пути.

1967

* * *

ВЕРХОВНЫЙ СУД
РСФСР
103289, Москва, пл. Куйбышева, д. 3/7

21.01.91 № 5908 пс 90пр

на №

С П Р А В К А

Постановлением Президиума Верховного Суда РСФСР от 26 декаб 1990 года приговор Ленинградского городского суда от 15 декабря 1969 года в отношении Бергера Анатолия Соломоновича 1938 года рождения, отменен и дело производством прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Гр-н Бергер А.С. по настоящему делу реабилитирован.

Согласно материалам дела Бергер А.С. до ареста работал старшим товароведом отдела информации Северо-Западной конторы "Академкнига".

Председатель Верховного Суда РСФСР В.М.Лебедев

Верховный Суд РСФСР Президиум

Iiтс.

Мне советской не надо славы,
Я ищу на неё управы
За лихие её дела,
За растленное ею слово,
За распятье всего живого,
За сердца, что выжгла дотла.

За ночные слепые страхи.
Те — смирительные — рубахи,
Смертный мрак наведённых дул,
И глумящихся толп разгул.

Да, крутые у нас с ней счёты,
Рассудили бы нас пулемёты,
Но не равен уж больно спор,
У неё — лагеря, ракеты,
Подставные суды, газеты,
У меня — лишь строка в упор.

1968

Арест

Та весна мучила недаром. В душе была недосказанность и смута; я говорил друзьям, что меня одолевают предчувствия. А стихи шли удачно, светло, будто вернулся 1962 год. Это меня и настораживало: песня давней той поры оборвалась на армейском плацу; затерялась в свисте заполярных метелей. Притом каждый стих даже интонацией звучал, как пророчество. В довершение — десятого апреля мне приснился сон страшный, как беда. Привиделось, что я в своей комнате обнаруживаю снаряд и смаху выбрасываю его в открытое окно. На улице раздается взрыв, крики, стон, и я с ужасным замиранием сердца жду расплаты. Проснулся я, как потерянный, и целый день ходил с камнем на сердце. Я рассказал об этом сне отцу, матери, потом жене. Но как быть с предчувствиями? В них загадки, а не разгадки.

Ни стихи, ни сны ничего не могли поделать. Проклятая реальность была за углом.

Пятнадцатого апреля в квартирную тишину утра ворвался звонок. Вошедшие люди — они были тёмные и глухоголосые — заполнили комнату. «Нам нужен Анатолий Бергер». Я был нездоров тогда, накануне в поликлинике продлил бюллетень, на ночь мне делали горчичники. Я привстал на кровати. В ордере на обыск меня подозревали в сношениях с неким Мальчевским, о котором я слышал впервые. Начался обыск. Обыскивали вещи, простукивали стены. Открыли пианино и совались в переплетение его музыкальных рёбер и жил. Отца не было дома, мама, посеревшая лицом, молчала. Я поймал её взгляд — огромный и стонущий. Жена села рядом со мной на кровати, обняла за плечи. Меня снедала тревога. Я спорил с темнеющими по комнате людьми, говорил о недоразумении, о том, что детективное и дефективное недаром подобны на слух. Телефон отключили, перед тем, как пустить меня в туалет, обыскали. Мне предложили ехать на Литейный для выяснения. Не веря ещё во всю силу несчастья, я согласился. Я даже не взял из дома денег, даже не попрощался по-настоящему с мамой и женой. Я только помахал им рукой. «Победа» повезла меня прочь от дома. Обыск продолжался.

Дорогой я смотрел на город, но не прощально, как из армейского автобуса. Я ещё не верил в беду. Почему-то в сердце запело на миг горделивое сиянье. Но это было недолго.

Коридоры КГБ мало чем отличались от коридоров других учреждений, и снующие люди, и хлопающие двери были как всюду. Меня ввели в кабинет под номером десять. Допрашивал

меня капитан по фамилии Кислых. И кабинет был скучен и хмур, как в любом учреждении, только на окнах чернели решётки. Меня спрашивали о друзьях, об их занятиях. Но чаще других — о Коле Брауне. Это меня внутренне задело, я что-то почуял, но так отдалённо! За эти ответы мне не стыдно. Кислых укорял меня в неоткровенности. Я заметил, что он нажимал кнопку на столе, отчего приходил другой человек на смену, в одиночестве меня не оставляли. Все вели себя по-разному. Один молчал, углубившись в бумаги. Другой — белобрысый в модной японской куртке — вёл любовный разговор по телефону. Мне запомнилась фраза: «Галочка, я Вас категорически приветствую». Меня она сходу резанула неприятной чужеродностью. Сторожил меня и кто-то грубый с кряжистым лицом, он сказал мне: «Это тебе не в компании болтать, подвыпив». Я ему резко возражал. Я отказался сидеть за столиком у двери и сидел или лежал на плотном чёрном диване. В середине дня Кислых принёс стакан простокваши, стакан чая, кусок свежей колбасы и булочку. Я томился. Я требовал отпустить меня, и шорох каждого троллейбуса воспринимал как благую весть. Я только в глубине сердца думал о своих тетрадях в письменном столе, и они словно бы давили на меня своей тяжестью. Но я не верил, что их тяжесть утянет меня на дно. Я ещё надеялся. А сторожа менялись всё чаще. Я устал. Я у каждого из них спрашивал, скоро ли меня отпустят. И они уныло обнадёживали меня, а я всё прислушивался к шороху троллейбусов, к рокоту проводов за окном. Приближалась ночь, и я мечтал попасть домой хотя бы к двенадцати часам. Я представлял волнение родных. И главное — я всё надеялся, я не мог оставить надежду. Как наивно всё это было!

Молодой следователь при мне принёс мешок с чьими-то рукописями. Они тряслись в мешке, как живые. Он бросил свой улов в шкаф. Вид у него был довольный, как у ловкого рыбака. Я чувствовал, что происходит тёмное и постыдное — и здесь, и со мной, и рядом. И всё равно надеялся.

Наконец, без двадцати двенадцать меня завели в какую-то комнату, и Кислых сразу предъявил мне 70-ю статью. Строки этой статьи об изготовлении и хранении оглушили меня, как взрывная волна. Едва я дочитал их, за спиной моей послышался топот сапог и стук прикладов. Я увидел двух солдат с карабинами. Это было уже безоговорочно страшно. Я понял, что час мой пробил. Меня повели в тюрьму.

Дорогой я просился в туалет, а конвойные отвечали, что там есть всё. Я ещё не понимал тогда, что это значит. Шли мы гулко, временами слышался по сторонам скрежет. Стали подыматься

наверх. Железная лестница дрожала от каждого шага. Наконец, мы остановились. Один из конвойных вынул связку тяжёлых ключей. Тайна скрежета в коридорах открылась мне.

Я впервые в жизни увидел тюремную камеру. По стенам стояли две койки. На одной из них лежал человек. Маленькое окошко было зарешечено, а изнутри ещё прикрыто какой-то вертушкой вроде вентилятора. Под окном в стенной выемке выпукло виднелись трубы отопления, и слева от них чернел стульчак туалета. Дверь задвинулась, проскрежетали ключи, чёрный глазок в двери мелькнул человеческим глазом и снова закрылся. Сокамерник привстал на койке. Он был лыс и печален. Я спросил: «Как, туалет прямо здесь?» Он грустно подтвердил. Затем освободил мне табуретку, чтобы я смог повесить свою одежду. Мы не сказали двух слов, как открылась впадина под глазком и лицо надзирателя, показавшись в железном прямоугольнике, сердито покосилось на нас и, сказав: «Отбой. Кончай разговоры!», исчезло. На моей койке не было белья. Она серела в тусклом свете голой лампочки, торчащей над дверью. Я лёг и уставился на лампочку. Шла первая ночь заточения.

* * *

Что случилось, что же случилось —
С телом впрямь душа разлучилась
В ту проклятую ночь, когда
Била в колокола беда,
И железно койка скрипела,
И краснела лампа, дрожа,
А душа покинула тело —
Не увидели сторожа.
И ключи в замках громыхали,
И гудели шаги вокруг.
Чьи-то шёпоты то вздыхали,
То опять пропадали вдруг…

1974

Лене

Вышла замуж за тюрьму
Да за лагерные вышки —
Будешь знать не понаслышке —
Что, и как, и почему.

И в бессоннице глухой,
В одинокой злой постели
Ты представишь и метели,
И бараки, и конвой.

Век двадцатый — на мороз
Марш с киркой, поэт гонимый!
Годы «строгого режима»:
Слово против — дуло в нос.

Но не бойся — то и честь,
И положено поэту
Вынести судьбину эту,
Коль в строке бессмертье есть.

Только жаль мне слёз твоих
И невыносимой боли
От разлучной той недоли,
От того, что жребий лих.

1970,

Тюрьма КГБ, Литейный, 4

Двенадцать сокамерников

У меня было двенадцать сокамерников — один за одним, правда, как-то раз двое вместе. Это за время следствия и после — до отправки в лагерь. На пересылке случались другие, но ненадолго. В тюрьме же всё было внове и запомнилось жёстче.

Самый первый — Владимир Абрамович С, полноватый человек средних лет, лысый, с мягким печальным взглядом. Встретил он меня по-доброму, подвинул мне табуретку, на которую я повесил одежду, — наступала уже ночь. Наутро мы разговорились. Он служил администратором Ленконцерта, был любителем книг и женщин, жил в своё удовольствие один. Таких я встречал в жизни не раз. Как-то так совпало, что и Ходасевича он ценил, и Замятина, и стихами моими стал восторгаться, всё это меня к нему расположило, и советам его я внимал с открытой душой. Да и что с меня взять — с новичка, только что глотнувшего сырой воздух кэгэбешной камеры и полузадохнувшегося. Поэтому его уговоры смириться, раскаяться, быть откровенным, сохранить себя, сберечь для грядущего творчества — его уговоры достигали цели. Только потом я понял, что не зря он сидел со мной, не зря оказался первым, не случайно любил Ходасевича, как и я (что следствию было известно).

Да и «легенда» его, говоря по-тюремному, была шита белыми нитками, но я, ещё не вооруженный зэковским зрением, этого не углядел. Он, по его словам, в букинистическом магазине на Литейном познакомился с американцем, собирающим прижизненные издания русских классиков, разговорился, вызвался помочь что-то там приобрести. Встретились, пошли гулять по набережной Невы неподалеку от Горного института и там, у гранитного парапета, попросил американец Владимира Абрамовича сфотографировать его на память, протянул свой превосходный фотоаппарат. Только он приладился — бац, набежали дружинники, схватили Владимира Абрамовича, вырвали фотоаппарат, от которого американец тут же отрекся в пользу, так сказать, своего нового друга, и повели под белы рученьки в тюрьму. Зачем снимал военный объект (там Балтийский завод торчал вдалеке) и вообще зачем с иностранцем по городу ходит? Записную книжку отняли, а у всякого интеллигента записная книжка — готовое свидетельство преступления, что-нибудь да найдется в ней антисоветское, и не отбояриться: «Это вы считаете, что нет ничего крамольного, а мы считаем, что есть». И всё. Садись на железную койку, скрипи ржавыми пружинами, взглядывай на белый свет сквозь жёсткие,

как неволя, жалюзи. Клеили ему 64-ю — измена Родине, а иностранца сразу отпустили.

Если даже это всё правда что с ним случилось, уж очень как-то складно, как по-писаному, а дело было весной 69-го, все-таки не 37-й год. Не знаю, подсадили его ко мне как «наседку» или действительно сидел он по-настоящему, и посулили ему смягчение участи, если меня охмурить, но уже 27 апреля (а сел он, по его словам, 11 апреля) выпустили его на волю, вернули записную книжку, и пошёл он снова в свой Ленконцерт.

Потом, в конце 70-х, встретил его на Невском, больной он стал, старый, но прятал, прятал свои мягкие участливые глаза. Вскоре умер он от инфаркта, но не шестнадцать тюремных дней были тому причиной. Может быть, нечистая совесть, а скорее всего, просто изношенное суетливой жизнью администратора Ленконцерта холостое мужское тело — тело любителя книг и женщин.

* * *

Вторым был тоже Абрамович, имя его забыл. Он являл собой часто встречающийся тип еврейского инженера-производственника — дельного, хорошо работающего свою работу, «технаря», как принято говорить. Такие люди читают больше газеты, иногда что-нибудь очень уж громкое в журналах, поэзию, как правило, не знают и не любят, хотя помнят несколько современных имен, что на слуху, и, конечно, классиков школьной программы. Жизнь у таких людей чаще всего под стать их суховатому, малоприметному облику — суховатая и малоприметная для чужого скользящего взгляда. Жёны их похожи на них — усталые, замотанные женщины, занятые нередко на том же предприятии, или врачи, учительницы, бухгалтерши. Но дети непредсказуемы — могут и в поэты пойти, и в художники, и вообще куда угодно. Эти «технари» — особая порода людей, выведенная в советских условиях, одинаково готовая и на извечный подъяремный труд, и на отчаянное диссидентство, и на что-нибудь ещё. Когда я увидел своего нового сокамерника, я сразу всё это про него понял, и дальнейшее мало расходилось с моим представлением. Правда, жены не было, но была постоянная прочная связь по месту работы, что мало отличается от обычного супружества.

А попал он, по его словам, так. Вез с работы важные документы, по дороге зашёл в ателье отдать в починку одежду (или, наоборот, взять из починки — неважно), сел там в кресло,

портфель рядом; выходя, забыл, вспомнил позже, прибежал, а портфель — поминай как звали. Не сберёг государственную тайну. Тюрьма КГБ — Литейный, 4. Грозила статья не такая страшная, как 64-я — измена Родине, но тоже не сахар — разглашение государственной тайны или преступная халатность, что-то в этом роде. Меня он сухо, трезво и арифметически точно убеждал каяться, всё рассказывать, что спрашивают, не раздражать попусту следствие. Очень скоро, дней через десять, его выпустили, — тайна, якобы, утратила свою таинственность, он снова стал нормальным советским инженером, и можно было его отправлять в шумящий за смутными тюремными форточками город Ленинград, больше чем наполовину состоящий из таких вот инженеров, техников, плановиков, бухгалтеров, врачей и учителей, каждый из которых хоть завтра, хоть через год мог попасть в кэгэбешную камеру и остаться в ней надолго или быть выпущенным через несколько недель на своё великое счастье и на великий страх на всю оставшуюся жизнь.

* * *

Третьим был армянин, мелкий мошенник, имя его забыл — маленький, щупленький, весь какой-то остренький, настороженный и злой. Лет ему было слегка за двадцать, но потрепанный, поизношенный суетливой мазуриковой жизнью, выглядел он постарше. Светило ему по его уголовке немного, и держался он привычно, знал, куда попал и за что. В Питере он обретался сравнительно недавно, женился на русской девчонке, говорил о ней ласково, показывал фотографии, читал её письма в тюрьму, милые, участливые. Она не жаловалась, но как бы сквозь сдержанные слёзы писала: «Хоть пока что отдохну по-женски». Но, когда он читал мне эти письма, лицо его всё равно оставалось жёстко-остреньким, злым и настороженным. Несмотря на молодость, был он уже опытным, битым, знающим — что почём в жизни. О моих двух предыдущих сокамерниках, абрамовичах, как он их звал, мне сразу сказал — стукачи, наседки, следствием подсаженные, чтобы ты раскололся, в сознанке был. «Дело твоё пустое, ты же не фабрику поджёг, но быстро не выпустят, в когтях ты уже, не вырвешься». Я и сам это понимал, абрамовичи, упорхнувшие, как воробьи в тюремную форточку, рядом не чирикали, не наводили тень на плетень. Армянин же советовал мне говорить поменьше: чем меньше скажешь — тем меньше эпизодов накрутят. Но было уже поздно — попался бы он мне сначала. Да ведь КГБ знал, что делал, знал, кого подсунуть

новичку.

Сам он говорил мало, о мошеннических своих проделках не распространялся, больше вспоминал, как завтракал в «Астории» перед выходом на «работу», и эти воспоминания утешали его, да он и не плакался на судьбу.

«Лучше так жить, как я, а там уж как случится. Я-то знаю, за что сел, есть что вспомнить». — «А жена молодая?» — спрашивал я. — «А её дело такое — ждать, пока выйду. Я ей много оставил — дождётся», — говорил он своим острым присвистывающим голосом. «Что ты всё присвистываешь?» — спросил я его. — «Да гайморит, нос простуженный всю дорогу, никак не вылечу: мусора всё мешают».

Так и сидели мы с ним, но недолго совсем — одну неделю. И скрылся он за дверью со своим узелком, со своим присвистывающим голоском и фотографиями ждущей дни и ночи молодой жены.

* * *

О четвёртом наберётся у меня слов немного, потому что сидел он со мной дня три. Это был парень лет девятнадцати, а то и меньше, среднего роста, белобрысый, полнолицый, с туповатым взглядом и медленными движениями. Очень любил он поесть и притом прихватить чужого. Однажды, уходя на допрос, оставил я несколько пряников, присланных из дома, на тумбочке; вернувшись, их не обнаружил. Я спросил его. «А в тюрьме коммунизм, тут закон такой — всё общее», — сказал он убеждённо.

Попал он, по его словам, за то, что, якобы, избил хулигана, изнасиловавшего девочку где-то на реке, в глухом месте. «Вышла из кустов, рубаха порвана, по ногам кровь текёт, плачет. А я парнишка физически развитый, догнал мужика — и по голове, да ногами». Как-то не похоже это было на него. Такие как раз и насилуют девочек в кустах, а потом те выходят оттуда разодранные, в крови и слезах. Много таких белобрысых да низколобых по питерским дворам тусуется да в подъездах маячит, гремит в ночи наглым магнитофоном и грохочет сумасшедшим мотоциклом, а сейчас и на «мерседесах» гоняет.

О себе я ему, понятно, не рассказывал, и слава Богу, дня через три его забрали. И остался я один ждать пятого сокамерника, который вскоре появился.

* * *

Пятого звали Мишей, и был он, что называется, отпетый урка. Я такого первый раз видел, а сидеть мне с ним пришлось недели две, срок для тюрьмы немалый. Был он средних лет, среднего роста — средний, можно сказать, представитель преступного мира, что прячется в тёмных углах тёмного ночного города перед тем, как выйти на тёмный свой промысел. Впрочем, они и днём ходят, у кого какая метода.

Миша был весь какой-то серый, пустоглазый, глухоголосый. Я чувствовал исходящую от него неприязнь, но внешне он её почти не выказывал. Урки вообще довольно сдержанный народ, и любят закатывать свои психические номера в основном перед начальством. Он внимательно оглядывал меня своими хмуроватыми пустышками и спрашивал, спрашивал. Явно он работал на КГБ, видно, кое-что они пообещали ему. О своём деле говорил обиняками, но там проступало что-то серьёзное. Да и цементный пол нашей с ним камеры топтал он явно не в первый раз. Всех моих предыдущих сокамерников он считал стукачами, особенно злобно отзываясь о первых двух. Тут и национальная враждебность сквозила, позже прорвалось в нём:

«Знаю, как евреи воевали, пока мы в блокаду дохли, знаем, как они воевали в Ташкенте на солнышке». — «А ты в блокаду в Ленинграде был, что ли? Ты же говорил, что из Кировска родом и жил там, вчера ещё говорил». — «Не я, так другие, такие, как я, какая разница».

Обращался он ко мне то на «вы», когда уговаривал передать с ним письмо на волю родным: «Я под каблук прилажу, век не догадаются», — то на «ты», когда я на эти уговоры не шёл, чуя подвох. К делу моему он относился полупрезрительно. «Что там стихи, кто их читает. Я вот сидел с профессором, он на Сталина бумагу писал, четыре года без приговора сидел, а потом десятку дали. Вот это политиканты, это настоящие». О прошлом вспоминал редко, было ощущение, что ни отца, ни матери у него отродясь не было, так и вылез в зэковской робе из скважины в громоздких тюремных дверях. Власть не ругал, но обижался на неё за то, что неправильно она смотрит на «преступность мир», — так он говорил, льдисто глядя на меня своими пустыми глазами. «Надо человеку дать работу и жильё, когда он освободился. Куда же нам податься, коли баба не дождалась, куда идти? Так вовек не изведётся преступность мир, да власти и надо, чтобы мы воровали, чтобы было, за что ментам хлеб есть».

О женщинах говорил мало, всё вспоминал со смехом, как пили водку под солёные огурцы на хате с бабами, а потом, говоря его словами, совали им в м… огурец. «Как дашь по брюху, он раз — и в потолок, вот смеху было, раз — и в потолок, так и скачет, а

то в стену. Целую ночь пуляли».

Но главный разговор у нас с Мишей был о письме на волю. Так он старался меня убедить, так упорно доказывал необходимость своей услуги! Но я нутром чуял, что тут КГБ замешан, и ни за что не соглашался, а урка мой злился и хмурился. В конце концов, выйдя на волю, он звонил моим родителям (телефон следователи дали), настаивал на встрече с моим отцом, но дома тоже почуяли неладное, уклонились от свидания.

Так и ушёл от меня пустоглазый вор Миша навстречу своей привычной мятой-перемятой судьбе, то прячущейся по тёмным углам тёмного города, то мельтешащей за густыми решётками питерских тюрем.

* * *

Я не помню — его привели ко мне в камеру или меня подсадили с вещами к нему, но первые слова, обращённые ко мне, не забуду никогда: «Давай сразу договоримся — есть каждый будет своё, передачи делить не станем». Меня это удивило — не по-зэковски как-то, даже воры такого не говорили, но что ж — не делить, так не делить.

Был он выше среднего роста, пожалуй, красив какой-то мягковатой, полувосточной красотой, что встречается порой у кавказского племени. Он и был армянин по отцу, и фамилия его была армянская. Вскоре услышал я его историю. Был он без пяти минут кандидат наук, занимался экономикой Индонезии, знал иностранные языки. Жил один вольной жизнью избалованного женщинами холостяка, но при этом мыслил, что для советского человека, а тем паче интеллигента, было в те времена строго наказуемо.

В 1964 году послал он во владивостокский обком КПСС письмо, предупреждал о китайской опасности — а дело знал не с чужих слов, изучал Китай подробно. Как раз незадолго до нашей с ним посадки предвидение его подтвердилось, китайцы напали на нас — все помнят бои на Даманском.

Позже посылал он письма, протестуя против ареста Гинзбурга и Галанскова, разбрасывал листовки собственного сочинения. КГБ вычислил его по номеру университетской пишущей машинки, на которой он отстукивал свои послания. Это был первый встреченный мной настоящий диссидент, т. е. моего поля ягода, и я смотрел на него поначалу, чуть не раскрыв рот.

Выглядел он молодо, но оказался старше меня лет на десять.

КГБ разрушил его жизнь и карьеру. Дали ему 3 года, и отдельной своей квартиры он лишился, остался без крыши над головой, как, горестно жестикулируя, выкрикивал он, без конца маяча по камере туда-назад, туда-назад. Научная работа рухнула, диссертация осталась незащищённой, а впереди лагерь и безвыходная судьба советского бомжа после. Он часто оплакивал свою жизнь, и я сочувствовал ему, хоть и самому пришлось несладко. Но сидеть с ним было тяжело. Он не стеснялся физиологических отправлений, а в камере такое особенно неприятно. Мог съесть целую головку полученного от родных чеснока, бормоча: «Витамины, витамины». Когда я однажды сказал ему, что так нехорошо, он ответил: «Но ты должен быть благодарен мне — я ведь не курю». То, что и я не курил, воспринималось как должное.

Наблюдая за ним (а сидели мы вдвоём чуть не месяц), я понимал, что в нём сошлись многие достоинства и недостатки советского интеллигента-диссидента, достоинства духовно-идеологические, недостатки — человеческие. Такие люди потом встречались мне часто, но он был первым.

Некоторые мысли его порой потрясали меня новизной. Например, о том, что XIX век своими теориями определил практику XX века, что Маркс и Ницше породили страшного двуглавого дракона нашего времени, и он едва не пожрал землю. Говорил он умело, слушать его было интересно. Но начинал он маячить по камере, начинал свои полуистерические сетования, и куда-то пропадали ум и красноречие, оставался слабый и тяжёлый в быту человек.

Я потом видел его в лагере, там он был таким же, как в камере, хотя несколько ожил, уйдя из тюремных стен на тропинки вдоль колючей проволоки. В Питере после освобождения он вначале мыкался, пришлось ему жить в области по общежитиям, потом приютила его вдова брата. В конце концов при Горбачеве добился он реабилитации, дали ему отдельную квартиру, сумел он защитить свою диссертацию. Я радовался за него, как и за всех нас, хлебнувших тюрьмы и концлагерей и вдруг дождавшихся свободы, но пришло это многим под старость, и вспоминать прошлое тем горше. Да и свобода оказалась не той, что грезилась за перепутанной между лагерных столбов колючкой.

* * *

Седьмым был тот, кого я меньше всего ожидал в тюремной камере, — иностранец, полунегр, почти не говорящий по-русски,

небольшого роста, молодой, лет двадцати пяти. Кое-как он поведал мне свою историю, мешая испанские, русские и всякие прочие слова, помогая себе жестами. Родился он в Колумбии в семье служащего, учился в школе, но позже заразился марксистскими идеями, благо Куба от Колумбии близко. Это его и свихнуло. Решил он бежать в Советский Союз — на родину социализма, чтобы подсобить его, социализм, строить. Однажды ночью в порту пробрался на советский корабль, который грузился колумбийским кофе, проник в трюм и затаился там. Так и отплыли с ним в моря-океаны. Запасся немудрёной едой и, как был в сандалиях и рубашке, так и засел среди бочек и ящиков. Через несколько дней, когда кругом вздымались и громоздились волны, и кроме неба и моря ничего не было, объявился на палубе. Дальнейшее понятно как дважды два — четыре. Увы, Максимки из него не получилось — не те времена, не те нравы, привезли его в город Ленинград и сразу в следственный изолятор КГБ — так сказать, в самое сердце социализма. Статья за незаконный переход границы — до трёх лет, и никаких поблажек.

Вот тут-то начал он вздымать к тюремному потолку руки и стенать: «О, турма! О, турма, турма!» Слушал я эти стоны по несколько раз на дню три месяца подряд — ни больше, ни меньше, пока его не увели в другую камеру. Сидеть с ним было невесело. Разговор, если это можно так назвать, был однообразен и малосодержателен. Теперь он ругал Советский Союз и социализм, и это, пожалуй, единственное, что примиряло меня с ним и придавало смысл его побегу из Колумбии и всей этой дурацкой истории.

Сидел он без передач, без книг, одну только какую-то книжонку на испанском сунули ему, он её прочел за день-два, а потом всё перечитывал. Я делился с ним едой, но поговорить мне было не с кем. Он что-то пытался мне рассказывать, что-то я ему — ведь три месяца, девяносто дней, но древнее проклятие, павшее на строителей Вавилонской башни, тяготело над нами. Я просил перевести меня, пересадить его, обещали, но дни шли, мы не разлучались. Он называл имена колумбийских поэтов — это меня радовало, не самый тёмный колумбиец мне попался, пытался рассказать, как на Амазонке их лодка, где он плыл с индейцем (зачем и куда, я не понял), чуть не попала в водоворот, а рядом разевали пасть крокодилы, но Бог спас, отнесло от опасного места. Объяснял, больше пальцами, как хорошо было в Колумбии, какие там добрые люди. «А что же ты на Кубу не сбежал, к Кастро, это ведь ближе?» — спрашивал я, мучительно жестикулируя. — «Нет, нет, Куба нет, я хотел Советский Союз». — «Но социализм везде один, Кастро — Брежнев — баланс», —

делал знаки я. «Да, да, баланс, но Советский Союз — центр, большой, Куба — мизер, Ленин нет, Кастро». — «А сейчас тюрьма, Ленинград — тюрьма», — говорил я. — «Да, турма, турма, о, турма, турма», — и начиналось воздымание рук и стоны, а сидел он на железной койке по-турецки, и она стенала и вздрагивала вместе с ним.

Жалость мешалась во мне с раздражением, которое я с трудом подавлял, но каждый день почти повторялось одно и то же, те же сетования на баланду, на зарешеченные окна, на не знающих испанского языка надзирателей, на всю свою своими же руками исковерканную жизнь. И радостен был день, когда увели его, наконец, в другую камеру или на волю — не знаю. Да это и не слишком волновало меня. Я так устал от него, что готов был на любого сокамерника — только бы он говорил по-русски.

* * *

Наступил новый, 1970 год, год полностью тюремный, уже прошёл суд, я знал уже свой срок — 4 года лагеря и 2 ссылки, пережил момент приговора, когда слова судьи падали на грудь, как камни, по точному слову Ахматовой. И как раз в это время, в январе, когда увели от меня, наконец, колумбийца, я оказался в камере не с одним, как раньше, а с двумя сокамерниками разом. Это были уже знакомые мне по скамье подсудимых два вора Ц. и Р. КГБ пристегнул их к нашему с Брауном стихотворно-словесному политическому делу, воспользовавшись следующим обстоятельством. Ещё в 1967 году М., В. (знакомые Брауна), а также Ц. и Р., переодевшись милиционерами, организовали мошеннический обыск у родственницы Ц., старой еврейки, вдовы гинеколога, куда навёл их никто иной, как сам Ц. Награбили они у родственницы Ц. много, она никуда не заявляла, всё бы сошло с рук, но через год М. попал в Кресты по другому делу и, сидя в камере, разболтал сотоварищам-стукачам обо всей этой операции в подробностях, да ещё об антисоветчике Брауне наплёл. Так и сплелась наша с Брауном судьба с воровской судьбой упомянутой компании. Причём, вор-рецидивист Р. (для него теперешняя «ходка» была четвёртой) возмущался, что его посадили на одну скамью подсудимых с антисоветчиками Брауном и Бергером. КГБ всё это свалил в одну кучу, чтобы и нас опорочить, и себе набить цену — вот, мол, как работаем, всё можем.

Но вернёмся, как говорил Панург, к нашим баранам, то есть в камеру.

Ц. — высокий, сутуловатый, бородатый еврей лет тридцати,

Р. того же возраста, среднего роста крепыш с уверенными движениями и быстрой походкой. На суде они держались уверенно. Ц., проникновенно глядя на судью Исакову — тяжеловатую немолодую женщину, сидевшую на своей паперти, подперев кулаком полный подбородок, — говорил «Все мои беды начались с того, что покинул я родной завод», и Исакова медленно кивала головой. Р. валил всё на мытарства после очередной отсидки. Получили они Р. — 6 лет, Ц. — 3 года и были страшно довольны. «Паровозом» шёл Коля Браун — 7 лет лагеря и 3 года ссылки по ст. 70, а у воров и статьи были воровские, и сроки меньше наших.

И вот с этой парочкой — Ц. и Р. — я снова оказался вместе, теперь уже в одной камере. Отнеслись они ко мне хорошо, по-товарищески, что называется, но сидеть с ними было маятно: всё время стоял перед глазами суд, да и душновато в небольшой камере втроём.

Ц. сетовал на судьбу — его красивая еврейская жена отказалась от него, узнав правду, ушла с дочкой к родителям. «А ведь когда дарил подарки совсем не по зарплате — ничего не спрашивала», — сокрушался Ц. Впрочем, жену он не осуждал, но и бросать воровской промысел и после отсидки не собирался. Р. же верил, что его подруга — русская женщина — ждать его будет и дождётся. «Пусть ждёт активно, — говорил он, — важно, чтобы дождалась». Он вообще был оптимист и весь лучился энергией. Оба вора сочиняли стишки: Р. под Маяковского нечто политическое с осуждением вторжения в Чехословакию в августе 1968 года, Ц. рифмовал вирши о нас всех — тюремных сидельцах, слегка пеняя нам с Брауном за антисоветские убеждения. Р. был немногословен, о прошлом говорил мало. В третий раз он сидел за 47 краж, из них 7 считались особо дерзкими, он совершил их в одну ночь. «Настроение было такое», — легко обронил он, когда я спросил об этом. Ц. глядел на него восторженно-подобострастно. Он вообще всё время заискивал перед ним, всячески вилял хвостом. Да и не скрывал этого. «В лагере под крылышком у Р. отсижусь — три года пролетят, и моргнуть не успею», — приговаривал он. Распевал советские песни, развлекая нас и надзирателей. Духом он не падал. Правда, когда перевели от нас Р. (тут я косвенно виноват — сказал между делом на допросе, что в камере тесновато втроём), Ц. несколько дней пребывал в плохом настроении, но потом снова вернулся к своим песенкам и байкам.

Так мы и сидели — то втроём, то вдвоём. Тут я должен извиниться перед читателем — сокамерников у меня было, вопреки названию этого рассказа, на самом деле одиннадцать. Но

Р. и Ц. я посчитал, поскольку сидел сперва с двумя, а потом с одним — за троих. Нечаянно смухлевал. Что ж, с кем поведёшься, от того и наберёшься.

С тех пор криминальных моих знакомцев я не встречал, но слышал, что бросили они воровское своё дело, вернулись, как говорилось на суде, в общество. Впрочем, не ручаюсь. Да и Бог с ними, и помилуй меня Бог от таких встреч.

* * *

С Ц. расстались мы без печали, и следующее моё знакомство было из разряда удивительных. В камеру вошёл высокий плечистый парень, живой в движениях и походке, с лёгкой улыбкой на устах. Эта живость и лёгкость была какая-то не петербургская, а скорее московская. Бывая в Москве, я чувствовал эту повадку, давно отмеченную в русской жизни и литературе. Даже коммунисты не смогли её задушить.

А история Юры Соколова — так его звали — была уж совсем не петербургской, всё в ней играло московскими красками. Он вырос в советской привилегированной семье, отец — военный немалого чина с древнерусским именем Краснослав, мать — писательница, еврейка, связанная с КГБ (писала на их темы под соответствующим углом). Юра дружил с актёром Филатовым, знал Никиту Михалкова, встречал в компаниях Владимира Высоцкого. Он и сам выразительно пел в знаменитом хрипатом высоцком стиле.

История же его была такая. Вращаясь среди московской золотой молодёжи, с детства зная английский, Юра легко общался с иностранцами. Однажды случайно познакомился он с милой молодой девушкой и её отцом, а это были американский миллионер-птицевод с дочкой (в СССР тогда проходил всемирный конгресс птицеводов). Молодые люди полюбили друг друга, говоря словами старинных романов, и разговор пошёл о женитьбе. Но американка и слышать не хотела о жизни здесь, среди советских, а Юру не хотели ни за что отпускать родители. Влюблённым пришлось расстаться, по их настоянию, по крайней мере на год, а там как уж Бог даст. Американка уехала, и Юра затосковал. Снова начались компании, гульба, весёлые ночи. Однажды утром после такой ночи, когда Юра сидел в кафе за чашкой кофе, к нему подошла солидная, эффектно одетая дама и осведомилась, не Юрий ли Краснославович Соколов попивает кофе, сидя напротив неё. Несколько опешив, Юра ответил на её вопрос положительно. «Вы этой ночью лишили мою дочь

невинности», — решительно заявила дама. — «Я не жил с вашей дочерью, я вообще не помню, что делал этой ночью, вы что-то путаете», — пытался отбояриться Юра, но не тут-то было. «Имейте в виду, что я главный врач города Ашхабада, и я точно знаю, что вы спали с моей дочерью, будете отпираться — пойдёте в тюрьму за изнасилование на 15 лет, — твёрдо парировала дама. — Вы женитесь на моей дочери и поедете в Ашхабад», — закончила она. Юра смутно припоминал, что после хорошей пьянки он действительно с кем-то переспал на исходе ночи, но девочка то была или нет и вообще что-нибудь определённое припомнить он не мог. Делать было нечего. Хоть и пытались родители отстоять Юру, уговорить грозного главного врача города Ашхабада, дать ей отступное — ничего не помогло. Или в тюрьму или под венец — так поворачивалась судьба. И Юра женился и уехал в Ашхабад. Прощай, прекрасная американка, прощай, далёкая, сверкающая Америка.

Жёсткий, горячий Ашхабад, столица Туркмении, принял в свои жаркие объятия непутёвого москвича. Жена оказалась милой, доброй, но Юра не любил её. Жизнь ашхабадская его мытарила, и он решил бежать не в Москву, а сразу в Америку. Тайно уехал из Ашхабада в Ленинград, проник в морской порт и стал высматривать корабль, чтобы спрятаться в нём и отплыть в Европу или куда угодно, только бы из СССР, а потом уж в Америку к любимой. Юра выбрал западногерманский пароход «Мазовша» и первую ночь наблюдал за ним и за жизнью порта, за действиями охраны на вышках. Ночью прожектор каждые несколько минут равномерно шарил по открытому пространству. До корабля надо было ползти в промежутках темноты, и Юра решился, пополз. Он был уже почти у сходен, когда прожектор нащупал его и пригвоздил к земле. Матросы с «Мазовши» пытались помочь Юре, но куда там. Так он попал в тюрьму КГБ в Ленинграде. Сначала шили измену Родине, шантажируя пометами в записной книжке (читатель помнит, что значит для КГБ записная книжка пойманного советского интеллигента, это взрывное устройство, которое носишь в кармане). Но у Юры все-таки была мама с большими связями среди московских гэбешников и адвокатов. Она пригласила защитника из Инюрколлегии, он приехал из Москвы и быстро перевёл Юру с расстрельной 64-й на обычный незаконный переход границы. Хотя питерские следователи и упирались, но Москва пересилила. Юра получил свои 2,5 года и ждал отправки в лагерь. Так мы и встретились.

Новый мой сокамерник мне нравился. Он был умён, добр, весел и отважен. Сам обладая лёгким пером (видимо, от мамы),

он очень заинтересовался моими стихами, переписывал их день за днём, убеждал меня писать прозу, и я действительно написал, сидя с ним, новеллу «Может быть» из жизни немецкого интеллигента времён нацизма, где прозрачно намекалось на наше отечественное житьё-бытьё.

Сидели мы отлично, дружно, передачи делили по-братски, читали друг другу — я ему стихи и сочиненную только что новеллу, которая его восхищала, он мне начало своей повести. Юра часто рассказывал о своих московских приключениях, молодые ещё тогда Леонид Филатов, Наталья Варлей, Владимир Высоцкий и Никита Михалков, как в скоростном киноролике, мелькали передо мной, а кругом темнели голые тюремные стены, холодил ступни цементный пол, гвоздём колола глаза торчащая над дверью никогда не выключаемая лампочка. В конце концов месяц нашей тюремной жизни минул, и Юру увели. Мы обменялись адресами, позже он не раз бывал у меня дома в Ленинграде, рассказывал о своей теперешней московской жизни. Отпустил бороду, заматерел. Снова женился. Родился сын, названный в честь деда — Давидом. Американку Юра почти забыл, вся эта романтическая история осталась в далёкой дотюремной жизни. Она вначале писала Юре, звала, но время было советским, гэбешным, закупоренным.

Юра пытался помочь мне с публикацией стихов, но не удавалось. А потом он пропал, поменялся его телефон, где он, что он — сейчас уже и не знаю. А жаль, это был лучший мой сокамерник. Дай Бог ему удачи, заводному московскому парню Юре Соколову.

* * *

Последним моим сокамерником по тюрьме КГБ на Литейном, 4 был студент Ш. — забыл его имя. Щуплый, невысокий, рыжеватый — типичный еврейский студент-технарь, усердный, вдумчивый, знающий, где он живёт и что ждёт его в будущем. Ш., на беду свою, очень уж внимательно читал Маркса и Энгельса и дочитался до тюремной камеры. Я сейчас не помню его расхождений с официальным марксизмом-ленинизмом, да и вряд ли это интересно (это и тогда было мне неинтересно), но парень он был добрый, уживчивый, сидели с ним вполне сносно. Срок ему дали небольшой, меньше моего, и ждал он лагеря спокойно, не ныл, что в тюрьме совсем не пустяк. Позже я встречал его в лагере, он и там был таким же, как в камере. Потом, кажется, все-таки уехал в Израиль, сидение вместе с сионистами даром не

прошло. Я, впрочем, говорю это с полным почтением, я единственный, по-моему, еврей в нашем лагере, кто не уехал в Израиль. Но такова уж, видно, моя судьба, от которой, как известно, не уйдешь. Хотя жизнь ещё не кончена, а будущее знает только Бог.

Как-то так получается, что мне нечего больше сказать о Ш. Он был такой узнаваемый, такой привычный, такой студенчески-еврейский, такой марксистско-ленинский, что, мне кажется, и сейчас, встреть его, израильтянина со стажем, вряд ли я смог бы что-либо добавить.

На этом и кончается описание моего тюремного житья-бытья, моего тюремного года, моих спутников в этом тяжком странствии.

Свидетель

Это было в середине нашего с Брауном суда в декабре 1969 года. Дело быстро катилось к концу по накатанным скользким рельсам советской юриспруденции: холодно-беспощадно свиристел голос прокурора Инессы Васильевны Катуковой, готовно гудел тяжёлый низкий голос судьи Исаковой и семафорно подмигивали ему голоса народных заседателей. И слабо, отдалённо, как невнятное объявление в глубине вокзала, слышались, прерываясь на полуслове, нетвёрдые голоса адвокатов, да и замолкали надолго. И совсем уже еле слышно, как говор на перроне, мелькали наши голоса со скамьи подсудимых. Голоса свидетелей наших звучали ещё тише, ещё слабей, порою слышать их было ещё мучительней, чем голоса судьи и прокурора. Но вот настал день, и на маленькую сутулую трибунку свидетеля взошёл он, поразив нас ещё при входе своём в зал.

Сияющий сединами, весь какой-то светящийся, прямой, как воздетый указательный перст, твёрдо глядящий перед собой, он шёл твёрдой и в то же время лёгкой походкой. Широко открытые глаза лучились, губы были сжаты. А было ему тогда девяносто два года. Привезли его из Владимира, куда ездил за ним и брал показания следователь. Это был знаменитый когда-то Василий Шульгин — депутат царской Думы, редактор киевской газеты «Киевлянин», борец с советской властью.

Он выступал сейчас как свидетель Коли Брауна, тот бывал у него во Владимире, читал ему свои стихи. Удивительно было видеть Шульгина, светящегося отсветом начала века, напротив тёмной сплочённой кучки советских судейских. Всё выглядело, как находка кинорежиссера, и фильма этого мне не забыть никогда.

Его спросили о стихах Коли:

— Мы со следователем, очень милым молодым человеком, долго читали стихи Буби (так он называл Колю), но ничего антисоветского в них не обнаружили, — ответил своим медленным, словно шествующим голосом Шульгин.

— А что вам известно о фашистских высказываниях подсудимого, об его нацистских убеждениях? — спросили его.

— Прежде я хотел бы сказать о том, что фашизм и нацизм — разные понятия. Фашизм крайне неприятен, порочен, но при определённых обстоятельствах может быть терпим, нацизм нетерпим ни при каких обстоятельствах, преступен и подлежит самому непримиримому осуждению. Что же касается Буби, то ни фашистских, ни нацистских высказываний я от него никогда не

слышал. Да я бы их и не стал слушать.

Он посмотрел на нашу скамью подсудимых, где сидели мы с Брауном, своим твёрдым светлым взглядом. Это были воистину минуты какого-то странного потустороннего счастья в безвыходном нашем настоящем. Мы были потрясены, судейские посрамлены. Присутствующие, наши родные, друзья, знакомые смотрели на Шульгина во все глаза.

Выступление было закончено. Шульгин так же прямо, твёрдо и неуклонно, высоко подняв голову, покинул зал. Вместе с ним ушёл свет, исходящий от него. В зале снова стало темно и безысходно. Россия серебряного века скрылась за дверьми, за окном виднелся век ржаво-железный.

Суд наш ещё быстрее покатился дальше. 15 декабря нам объявили приговор. Скоро уж предстоял этап и лагерь. Шульгина мы больше никогда не видели. Он умер девяносто шести лет от роду во Владимире, похоронен там же.

P.S. Сейчас я знаю о Шульгине много больше тогдашнего. Сейчас он не чудится мне столь светлым. Но не стал сегодня переиначивать то, что чувствовал вчера.

Суд

1
Лети былое прахом,
Казнить тебя пора
Руки единым взмахом
И росчерком пера!

Чтоб насмерть — не воскресло,
Не вырвалось из мглы.
О, как жестоки кресла,
Пронзительны столы!

Глядят глаза лихие
И в голосах тех — яд.
От имени России
Навытяжку стоят.

И не спастись, не скрыться,
Не пошатнуть стены.
Вдали родимых лица
Печальны и верны.

…И этот страх барьера
И эта вот скамья —
Моей судьбины мера,
Отныне суть моя?

Встать, сесть имею право,
Отсчитаны шаги.
Налево и направо
Погоны, сапоги.

2
И чем душа кипела,
Чем был годами жив,
Теперь подшито к делу
И брошено в архив.

Родимые тетради,
Знакомых рифм гурьба,
Дрожь сердца в звонком ладе,

Что ни строка — судьба.

Как трепетно порою
Листал, то тешась вновь
Созвучною игрою,
То правил, черкал в кровь!

Сквозь точки, запятые
Мелькали тем видней
Судьбы перипетии,
Событья прошлых дней.

И всё, как взрывом — смаху,
Бей штемпель тот, кости!
Грядущее, ты к праху,
А нынче — Бог прости!..

В лихие те картоны,
В железо скрепок тех
Моленья, зовы, стоны,
И праведность, и грех.

1970

Лагерь

архипелаг ГУЛАГ
ЧУКОТКА
КОЛЫМА
Магадан
ПРИБАЛТИКА
Соловки
Канал Беломор-Балтийский
СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ
Воркута
Норильск
НОРИЛЬСК
Салехард
Игарка
САЛЕХАРД
Канал Москва-Волга
МОСКВА
САХАЛИН
Комсомольск
Советская Гавань
Свободный
УКРАИНА
ОЗЕРЛАГ
Тайшет
Братск
ОЮЗ
Урал
КУЗБАСС
КУБАНЬ
Киев
Волга-Дон
Новосибирск
Находка
Темиртау
КАЗАХСТАН
Джезказган
СТЕПЛАГ
КАВКАЗ
Балхаш
Главные районы восстаний, очагов депортаций
Важнейшие зоны депортации трудопоселенцев
Здесь родился ГУЛАГ
Главные группы концлагерей
Концлагери
Строительство железных и автодорог
Большие каналы, построенные заключенными
Города, построенные заключенными
Районы шахт и рудников
500 км
Карта: Eidographia

Не хочется вспоминать о лагере связно и постепенно, как это было в самой жизни. Хочется вспомнить, как запомнилось, как обобщилось. Вспоминать по чувству, по мысли. Это вернее. В этом есть сердечная потребность. Впрочем, пора к делу.

С Богом!

Пересылка в Потьме. Лагерь уже близко. Уже под ногами мордовская тюремная, лагерная земля. И камера, в которой мы сидим или, вернее, лежим, сама словно в земле. Тёмные нары в два этажа, тёмная параша на полу, тёмная дверь. Маленькое оконце перепутано ржавыми железами. Оно упирается в голую стену. От параши разит аммиаком. Ржавый свет лампы над дверью и цветом, и чем-то ещё родственен с этим запахом, от которого нет спасенья.

Но зато впервые мы встречаемся с настоящими зэками из политических лагерей. Это литовцы, двое. И каждому срок — 25 лет! В это не верится, я смотрю на них, как на чудо-юдо. 25 лет вне жизни, 25 лет! В камере странный отблеск этих двух лиц, отблеск их слов, их передвижений. Люди среднего возраста. Один сидит уже 14 лет, другой — 19. Оба сражались в лесах, в рядах «лесных братьев». А за это — 25 лет или расстрел. Теперь дают не 25, а 15. Но двадцатипятилетники досиживают своё.

Мне сам срок — 25 — внушает уважение, эти люди чудятся героями. Потом, за годы, я понял, что и в лагере идёт жизнь и проходит всё — и 25 лет. И геройство не в том, что отсидел, а в том, как сидел. Но тогда я смотрел на этих литовцев во все глаза и внимал каждому их слову.

Мы с Брауном приели взятое с собой из тюрьмы, у нас ничего не было. Литовцы угостили нас сыром, сахаром. Они недавно получили посылки. Это были те посылки, которых положено одну в год. Мы об этом знали. Тем выше казался мне поступок литовцев, делившихся с нами. Ведь одна посылка в год, 5 кг (а на поверку, так дай Бог — четыре!) И из этих килограммов, а, вернее, граммов они выделяли нам, уже позабывшим вкус домашней пищи. А им-то каково за 15, за 19 лет! Я почуял что-то присущее только лагерю — более подлинное и человеческое, чем бывало на воле. И рассказы их были отзвуками другого мира. Жизнь в лесу, в землянках, с оружием в руках, всегда тревога, всегда готовность к смерти. Трагическая партизанщина обречённого народа. Но литовцы не казались несчастными. В них и впрямь было что-то лесное, что-то до корней мужское. Такое впечатление о литовцах оказалось самым точным, сколько я их ни встречал — всегда чуял то же самое. Не знаю, каковы они в Литве, на воле. Но в лагере это люди настоящие. Мы уже знали, что у зэка не положено ничего спрашивать о его «деле». Такова

неписаная этика зоны. И литовцы очень глухо упомянули о себе. Только снизойдя, вероятно, к нашему полудетскому любопытству, которое светилось в глазах, — один из них рассказал кое-что. Но из-за дурного русского языка я ничего толком не понял. Впрочем, суть была в том, что его обучили в специальной школе на Западе, куда он попал после войны, и забросили в Литву. Он несколько лет воевал, но потом его предал бывший односельчанин по фамилии Демонас. И на воле имена людей символичны, а в лагере тем более. Я с этим потом не раз сталкивался. Впрочем, в лагере кажется, что любая мелочь имеет тайный смысл. Частично так и есть. Сама неестественность подобного человеческого поселения, этого «усеченного» бытия порождает в душах людей фантастическое и призрачное, изгибает психику. Я и себя ловил иногда на таких изгибах. Но об этом после.

Скоро мы расстались с литовцами, записали домашние адреса друг друга. Мы с Брауном очутились в последний раз вместе в узком закутке столыпинского вагона. Было о чём вспомнить перед разлукой. Об этом многое бы хотелось сказать, но сейчас ещё больно. Это только стиху, видать, под силу. Ну вот, высадили меня из поезда. Прощай, Коля, прощай! Поэзией и кровью мечен наш с тобой путь. Храни тебя Бог!

Я вошёл в зону вечером 29-го апреля 1970 года. Всё было приземисто и сумрачно кругом. Маленькие бараки стояли в углах и посреди этого опутанного проволокой прямоугольника. Торчали вышки, на них виднелись фигуры часовых. Слышался временами собачий лай, подвывание. Мелькал свет прожектора. Скудно светились окна бараков.

А за проволокой, за заборами, за вышками темнел широкий мордовский лес. Всё напоминало полустанок посреди дальней дороги — выйди да и бреди по Руси сквозь леса и поля. Ан, нет — не пойдёшь, тут и сиди. Много раз до этого я мечтал и вправду сойти с поезда на таком полустанке и пропасть в дремучем раздолье русской природы. Вот мечта и сбылась, да только не совсем.

Поезд мой остановился, вагон стал. И нету больше ходу, и нет пути. А покуда я вошёл в лагерь 385/17 и озирался вокруг настороженно, как и положено новичку. Правда, особенно долго озираться не пришлось. Надзиратель, по-здешнему «мент», послал меня в баню. Зэков почти не видно было из-за позднего часа. Банщик — одноглазый седой старик — обошёлся со мной приветливо. И он тоже отбывал 25 лет, кончал уже. Это был украинец, из бандеровцев. Я о них на воле слышал только дурное. А на поверку вышло не то.

После бани получил я лагерную амуницию — куртку, штаны,

а также ботинки, поразившие меня размерами. С того их в лагере и звали «говнодавами». В секции указали мне на верхнюю койку в углу. Над ней ютилась хмурая зыбкая лампочка. К счастью, на ночь её выключали. Под храп, сопенье, посвистыванье и вздыханье зэков потекла моя первая ночь в лагере.

И началось моё знакомство с этим неведомым мне миром. И первое, что я увидел — Россию. Да, я заглянул ей прямо в лицо, глаза в глаза. По тропкам и дорожкам лагеря вдоль вышек и заборов бродили осколки двадцатых годов — седовласые, седоусые старики ковыляли, налегая на палку или костыль. Около них топтались виденья годов тридцатых — потемней волосом, покрепче шагом. И шмыгали тут и там тени годов 40-х — половчей ухваткой, похищней взглядом. Это всё были полицаи. Война явилась для них ареной сведения счетов с ненавистным им режимом. Таких было большинство.

Был старик — седой, как лунь, с ярко-синими глазами и скрипучим голосом, у которого лагеря начались с 1921-го года. Мичман царского флота, он уцелел в первые дни гражданской войны, но за участие в Кронштадтском восстании попал-таки за колючий забор. С тех пор и пошло. В двадцатые и тридцатые годы его сажали и выпускали. Во время войны он пошёл к немцам. После победы его взяли уже на 25 лет — это была восьмая «ходка», как в зоне говорят. Ему стукнуло 73 года; он убирал в штабе, где находилось лагерное начальство. Зэки считали, что такая должность стукачья и, наверное, так и есть. Но на старика смотрели сквозь пальцы — что с него возьмёшь, с этой горькой, измытаренной старости? Мне так было его просто жаль. Скрипучий голос, дрожащие шаги, вся жизнь в железах — за что же осуждать? Не каждому дано стоять против судьбы с высоко поднятой головой. Хоть ярко-синие морские очи не поблекли от лагерной ржави — и то немало.

Был старик 88-ми лет, огромный, с круглой сивой головой, широкой бородой, большими светлыми глазами. Про него говорили, мол, старик Тищенко уже 50 лет у большевиков в плену. Он в конце двадцатых попал на десять лет, в войну пошёл к немцу, после войны — в лагеря на 25 лет. Оставалось ему при мне сидеть ещё года два. В последнюю отсидку он уверовал в Бога всей душой и беспрестанно молился. Вся жизнь его теперь держалась на этой истовой вере. Господь ему, впрямь, помогал. Он сидел за баней на пеньке и клал одно крестное знаменье за другим. Потом вставал и ходил, ходил туда-сюда, бормоча молитвы, продолжая креститься. Он крестил и пенёк, и землю, по которой ходил, и само небо. А то вдруг начинал мелко-мелко крестить, будто костить, угол бани, яростной скороговоркой бормоча уже, видать, не молитву. Это он изгонял нечистого, проклинал его. Я подружился с ним, и он немудреным словом обсказал мне свою любовь к Богу. «Бог есть любы, — говорил он, — нельзя обманывать Господа». Никогда не поминал прошлого. Только однажды и сказал, за что здесь и в какой раз. Когда я видел его сгорбленную большую спину, круглую сивую голову, тяжёлую тёмную руку, крестившую мать-землю, мне становилось светлее на свете, и вышки кругом словно отступали к лесу.

Но не все старики были такими. Были полицаи, заслужившие такое название. Учётчик Бондаренко словно сошёл с экрана какого-то военного фильма. Он глядел исподлобья, по-бычьи поворачивал голову. Когда на проверке он по карточкам вызывал

зэков, бросая на каждого вызываемого подозрительный жёсткий взгляд, я живо представлял оккупированную деревню, немецких автоматчиков и офицера с пистолетом в руке против тёмной понурой толпы крестьян, а сбоку — Бондаренко — старосту и его отрывистый хлёсткий голос и колючий взгляд. То-то приходилось от него, видать, крестьянину! В первые же дни мои в лагере он сказал мне: «Война — стихия. И ты и я — люди, все жить хотим. А с немцами шутки плохи. Отказался — с голоду подохнешь, а то и убьют. Немец есть немец. Так что не суди никого, ты войны не видел. Так-то». Бондаренко был патентованный стукач, он этого и не скрывал. Он говаривал: «Вот молодые собираются, шепчутся по углам, а в штабе вся раскладка на них готова. Куда там! Миллионные армии хребет сломали, а они туда же. Пропадут ни за что. Сами лезут в беду». Я видел, Бондаренко бросает на меня свои цепкие взгляды, видно, хотелось ему обо мне поподробней узнать. Впрочем, лагерные стукачи существовали в основном за счёт наговоров и оговоров. Начальство и это устраивало.

Таким был, например, полицай по фамилии Баклан. Создавая его, природа решила, видно, подстроить подвох всем остальным, ибо лицо у него было открытое и приятное. И разговор вполне обходителен, пока ему, по-лагерному говоря, не наступали на хвост. Тут он ощеривал свою волчью зверскую пасть. Был он из раскулаченных, хоть и кулаком совсем не был, а так — средний середнячок. А раскулачивали самые из никудышных, лодыри да прохиндеи. И вот, рассказывал Баклан, не пожалели его малых детей, в трескучий мороз выбросили всю семью на улицу да погнали к чёрту на рога. И как пришёл рыжий фельдфебель, тут уж Баклан добрался до своего недруга, который его губил и мордовал. Отвел душеньку. За то и получил 25. Но в лагере он только поменял хозяев и стал ретиво служить администрации, продавая не только молодых зэков, но и старых, таких же, как и он. Он нёс на вахту всё, что слышалось по лагерю, что изрекалось в отхожем месте, в умывалке, между столовой и бараком, и где бы то ни было. И добился-таки своего: срок ему сократили до 15 лет, и он ушёл на волю раньше меня. Старшие зэки из полицаев, до того осуждавшие его за предательство, теперь поговаривали: «Ему надо было продавать, выйти мужик хотел». На Руси уважают, как нигде, того, кто сделал по-своему. Кто смел, тот и съел. А как съел и кого — это уже Бог с ним. Я однажды сказал Баклану кто он есть, но в ответ получил только заковыристый мат. Он был уверен в своей правоте и что ж — кое-кого уверил в ней — из тех, кого продавал и предавал.

Были среди полицаев откровенно страшные личности. Немец Нейгебауэр был из тех, поволжских, кого Екатерина II привезла в

Россию как своё приданое. В первые же дни войны их всех с Поволжья бросили в Сибирь и Казахстан — несколько часов на сборы и в телятники. Однако Нейгебауэр не попал в эту несчастную толпу. Он остался на месте. Женат он был на еврейке, были дети. При приближении нацистов он своими руками убил жену и детей. Был он небольшой, коренастый, весь какой-то тяжёлый, массивный, как комод. И лицо его было грубо сработано и тяжко, и взгляд ложился на человека, как камень. Говорил он по-русски тяжело, и фразы его были под стать всему в нём — и лицу, и голосу, и походке. Я поймал однажды его взгляд на одного зэка, получившего посылку и поедавшего сало. Страшней и завистливей этого взгляда трудно что-нибудь придумать. Нейгебауэр тоже был верным слугой администрации и стучал даже на немцев, с которыми пил и ел. Он отсидел лет 19 и был отпущен на волю. Я слышал, будто его убили в родных местах, не знаю, правда ли это.

Был осетин из кавказской дивизии, знаменитой своими зверствами. Он громко и подробно рассказывал, как убивал евреев. Кавказская рота расстреляла ростовскую тюрьму — около трёх тысяч человек. Немцы только надзирали. А осетины, армяне, грузины и прочие сыны Кавказа со скрежетом открывали камеры, гнали по коридорам и лестницам понурых узников, тыча им в спину дулами автоматов. Во дворе расстреливали партиями, заставляли рыть могилы самих обреченных и становиться на краю этих чёрных ям. Немецкий офицер с пистолетом ходил и поглядывал, всё ли ладно. Так продолжалось три дня. В лагере осетин был у начальства на отличном счету, он руководил СВП (секция внутреннего порядка). Члены этой секции, состоявшей сплошь из полицаев, доносили на вахту, кто и с кем пьёт чай и тому подобные сведения. Это были стукачи официальные, их окружало в лагере всеобщее презрение. Даже полицаи иной раз расшифровывали СВП по-своему (советская военная проститутка). Любопытно, что срок у осетина был всего десять лет. После отступления немцев он остался в России и даже пошёл в партизаны. Тут он тоже дослужился до наград, а после войны работал счетоводом в колхозе. Наконец, добрались до него, взвесили за и против и бросили ему червонец, как называют в лагере десятилетний срок. У зэков вообще своя шкала отсидки. Хоть и говорят, что каждого свой срок давит (у зэков есть другое словцо), но всё-таки сроки считаются большими только свыше десяти. До десяти — все детские. До пяти — вообще не сроки, можно на параше отсидеться. Что ж тут скажешь — не прошла даром сталинская выучка. 25 лет принимается почти как должное. Зэки рассказывают, что когда обратились украинцы к

Ковпаку, чтобы посодействовал о снижении, он будто бы ответил: «Кара нэвэлика, трэба отбувати».

Уже при мне прибыл в лагерь старый хромой одноглазый зэк по фамилии Разноглазов. Такое совпадение фамилии и наружности оказалось ещё удивительней, когда зэк рассказал, что и брат его тоже одноглазый, а отец ещё до войны ослеп. Была в этом зэке какая-то народность и основательность. Услышав, как матерые полицаи говорят нам, молодым зэкам, что они-то сами никого не расстреливали, что им навесили чужие грехи на шею, он громко заявил: «Врёте, не было таких полицаев. Я сам вешал не раз. Нюрку Зыкову, односельчанку, повесил на суку за то, что партизан укрывала. Сказал ей — накидывай петлю, она сама и накинула… Я всех полицаев по Белоруссии знаю, у немца на шармачка не поработаешь, это не русский Иван». Разноглазов любил рассказывать, как, выражаясь его языком, «резался с прокурором на суду». Прокурор требовал высшей меры, но Разноглазов сумел ускользнуть от такой напасти. Но и небольшой лагерный срок оказался для него роковым, он умер от разрыва сердца; спускался по лестнице и вдруг подкосились ноги, упал, подняли его уже мертвого. Он мне запомнился ещё и оттого, что сочинял иногда стихи, и была в них какая-то подобная ему самому исконная народность, какой-то отголосок народной правды, которую теперь почти и не услышишь за шумом и криком.

Заканчивал при мне свой 25-летний срок Черенков, старший следователь гестапо в Краснодонской области. Он был замешан в деле «Молодой гвардии» — всего их, сидящих за «Молодую гвардию», было трое, двое давали показания, подтверждающие официальную версию, а Черенков стоял на своем. Он говорил: «Этот Сережка Тюленин известный был вор. Я как узнал, что машину ограбили, вызвал его отца, говорю ему — знаю, чьих рук дело, пусть вернёт игрушки и катится, иначе немцы за него возьмутся. У них булку украл или лошадь — один тариф — виселица. Зато и воры перевелись. И Любку Шевцову знаю, тоже маруха известная. Я настоящие дела вёл, не такую ерунду». Однако главным пунктом обвинения против Черенкова было дело «Молодой гвардии». Он при мне освободился, но по лагерю упорно поговаривали, что в родных местах он был по возвращении убит, и это, мол, дело рук чекистов. Поскольку так говорили не только о нём, я не уверен в достоверности этих слухов. Всякие были полицаи, но в целом их толпа производила тяжёлое впечатление.

Это тоже была Россия — тёмная, мрачная и злобная, жалкая и сходящая на нет. Истовая вера в Бога и стукачество уживались в

ней. Вчерашний убийца, у которого руки, как в лагере говорили, по локоть в крови — теперь отбивал поклоны по утрам и крестился на самодельную икону. А продажный стукач шептал другому, такому же, как он: «Ишь, крестится. А когда убивал человека — крест клал? Топчется за баней, а на самом деле такой же идол, как я. Богу молится, а чёрту служит». Так ненавидели и хаяли они друг друга в лагерных закутках, особенно украинцы белорусов, называя их не иначе, как «гадость» или «сатана». А те в долгу не оставались. Вражда, злоба и хитрость витали в воздухе. И так каждый день, каждый час, год за годом.

Но, слава Богу, не одни полицаи сидели в лагере. Встречались и другие. И особенно удивительно было узнать бандеровцев. На воле я слышал о них только чёрные слова. Вероятно, и такие слова нелживы: убийств и жестокостей у них хватало. Но в лагере эти люди производили сильное впечатление. Лица у них были не такие, как у полицаев. Эти лица светились, дышали убеждённостью и верой. Среди них не было стукачей. Сидя те же 25 лет, они сносили тяжкое наказание достойно. К евреям в лагере относились дружелюбно, чего совсем не скажешь о большинстве полицаев. Да и вообще среди бандеровцев было много людей образованных, знающих европейские языки. Они твёрдо верили в своё предназначение, в грядущую независимость Украины, в правоту своего дела. Они пели бандеровские песни, созданные в годы борьбы, и сама их речь была певуча, не то что грубошёрстный украинско-русско-белорусский волапюк многих полицаев.

Странная штука жизнь: не столкни меня с бандеровцами судьба, я бы, как и многие, костил их в разговорах — ведь есть за что! — а теперь как-то не хочется, не могу. Встают перед глазами светлые лица бывшего полковника Пришляка, Ивана Ильчука и других сотоварищей по несчастью, от которых я видел только доброе и хорошее. Истории их были порою высоко трагичны. Так, Пришляк воевал с первых дней второй мировой войны — сначала с русскими, потом с немцами, потом снова с русскими. В году 50-м или 1949-м его жену захватили советские части и предложили ей убедить мужа прекратить борьбу. С тем и отпустили. Пришляк предупредил жену, что оружия не сложит. Она и сама продолжала воевать и вскоре пала в бою. А он попал в плен и отбывал свои 25 лет. Но каждое утро я видел, как он занимается зарядкой, молодо приседает, подпрыгивает и бегает за баней. Он был очень хорош собой, и разговор его отличался мягкостью и расположением к собеседнику.

Другой бандеровец — Луцик — был поистине потрясающей фигурой даже среди сотен подобных ему. Он был схвачен

немцами за стихотворение, обвинённое в украинском национализме. Полтора года он провел в Моабите. Потом был выпущен, и в 1944 году попал уже в советскую тюрьму за то же самое стихотворение. Получил он за него 12 лет каторжных работ. Что он там испытал — страшно подумать. Ещё до тюрем немецких и советских он в бою был ранен и плохо с тех пор владел правой рукой. Тем не менее, он всё вынес. В 1956 году его реабилитировали. Однако очень скоро вновь посадили за внутрилагерную организацию, что карается крайне сурово. И вот он кончал свой третий или четвертый срок, досиживал, по его словам, тридцать первый год за решёткой, а всего стукнуло ему от роду 50 лет. Он продолжал писать стихи, но меньше всего в них было его судьбы. Он воспевал родное Закарпатье, облака и радуги над мечтательною водой звучно бегущих рек и зеленью стройно стоящих гор. Под конец срока он стал сходить с ума, воображать себя родственником императора Франца-Иосифа. Грустно было слушать его. Я знаю о нём, что отсидев после лагеря ещё два года за нарушение паспортного режима, он в конце концов угодил в дурдом, и там пребывает и сейчас.

А вот Иван Ильчук кончал свои 25 лет в полном здравии тела и духа. Он был телохранителем начальника отряда у бандеровцев, и на его счету 49 убитых в боях советских солдат. Но, глядя на его доброе лицо, трудно было представить его стреляющим. Это был настоящий украинский богатырь-казак, о котором пели в гоголевские времена бандуристы. Веруя в Бога без надсады и аффекта, он, однако, в воскресенье работать не шёл под страхом любого наказания, чего не скажешь ни о бурно молящихся полицаях, ни о молодых зэках, много рассуждающих о Боге и символе веры. В Иване Ильчуке была та искренность, которую не возьмёшь напрокат. Убеждённый в своей миссии борца за самостийную Украину, он готов был умереть за это. Нереальность мечты о самостийности его не остановила. Он остался несгибаемым.

Литовцы произвели на меня большое впечатление с первых же дней. В дальнейшем это впечатление только усиливалось. В этом народе было редкое теперь чувство единой семьи. В то же время ко всем остальным нациям они относились дружески. Ни ненависти, ни презрения, ни злорадства. Литовцев в лагере было очень много, но самые «тёплые» места принадлежали, как правило, не им. Редко литовец оказывался даже на месте бракёра. Правда, одного литовца-фельдшера в санчасти я знавал, но он, по-моему, стукачом не был. Земляки к нему относились хорошо, а это важный показатель. Литовцы ненавидели стукачей. Говорят, что в старые сталинские годы литовцы и бандеровцы уничтожили

немало предателей и сбили спесь с уголовников, верховодящих до того по лагерям. Дело доходило до поножовщины, и урки отступили. Страшные были времена, страшные нравы. Сейчас всё тише, не ходят к оперу втроем, вчетвером (а если один пошёл — значит, стукач, — убьют, отрежут голову и принесут на вахту. Так рассказывают в лагерях старики).

Среди литовцев были, конечно, люди разные. Много попадалось могучих, лесных, по-медвежьи коренастых мужчин, реже встречался городской тип. Ярчайшее впечатление производил Балис Гаяускас. Он был родом из Каунаса, из интеллигентной семьи. Его организация поддерживала связь с лесными группами. Во время городской облавы Балис застрелил гнавшегося за ним офицера. И вот — 25 лет срока, а было Балису тогда всего 22 года. Он прошёл все лагеря — от сталинских до сегодняшних. Но ни разу я не видел его раздражённым, грубым, злым. За 25 лет отсидки он изучил 20 языков и мог на них писать, разговаривать, думать. Все европейские, 6 языков Индии, прибалтийские, славянские. При мне он начал изучать тибетский язык. С Балисом дружили в своё время многие достойные люди, из последнего лагерного призыва — Даниэль. Балис за 25 лет ни разу ни в чём не пошёл на компромисс, не отказывался ни от какой работы. Высокий, стройный, с открытым смелым лицом и лёгкой походкой, он был подлинный герой, герой во плоти. Я таких раньше не видел и не знаю, встречу ли ещё. На воле таких нет. Я счастлив, что этот человек дарил меня своим расположением. Наши беседы о русской и литовской культуре, об исторических путях и судьбах народов живут в моей памяти. Литва может гордиться таким сыном.

Латыши на литовцев походили только фамилиями. Они не производили впечатления политзаключённых. Работали лагерные работы истово, и ходила присказка, что два латыша заменяют шагающий экскаватор. Как начиналась в лагере стройка, их пригоняли толпами, и кругом слышался их говор. Многие из них не доверяли друг другу и завидовали удаче земляка. Не раз кто-нибудь из них останавливал меня и говорил: «Вот видите, герр Бергер, земляки опять настучали на меня — сегодня поговоришь, а завтра всё известно оперу. Нет ничего хуже земляков, поверьте мне». Такие речи я слышал от них часто. Однажды я беседовал со стариком-латышом, он рассказывал, как воевал, имел чин капитана, пользовался уважением немцев. В тот же вечер меня остановили два других пожилых латыша и своими каркающими голосами стали ругать моего недавнего собеседника — он-де врун, болтун, никакой не капитан, нечего его слушать. Латыш по фамилии Катис — высокий, седой черноглазый старик, блестяще

говорил по-немецки. Про него я слышал, что он был начальником концлагеря у нацистов. Однако в лагере он особенно тяготел к евреям и старался заводить с ними разговоры. Правда, мне он сказал: «Вот, Бергер, Вы ходите вместе с евреями, а среди вас кто-то обязательно стукач. Уж Вы поверьте мне, я знаю, один кто-то обязательно стукач». По лагерному опыту я знал, что стукачи очень любят сеять подозрительность среди зэков и обязательно на кого-то указывать пальцем. Мы уже знали — тот, кто называет стукачом того, этого и этого, наверняка стучит сам. Психологически это понятно, и вообще психология стукача не отличается тонкостью. Наводить тень на плетень, оговаривать товарища — вот, пожалуй, и вся стукачья уловка. Стукачи со времен сталинских и поутихли, и в то же время стали наглее, не боятся ножа, не шарахаются от прямого взгляда. Но теперь их меньше, а среди молодых совсем мало. Это им бодрости не прибавляет. Чтобы закончить о латышах, расскажу о 72-х летнем Ульпе, бывшем штурмбанфюрере СС. Он не был в Латвии с 20-х годов, жил в Париже, работал шофером такси. Меня он поразил своим знакомством и родством (по его словам) с великим поэтом России Владиславом Ходасевичем. Жена Ульпе, как он утверждал, была сестрой Нины Берберовой, жены Ходасевича, и жили они на одной лестнице — Ульпе на втором этаже, Ходасевич на третьем, на улице «Четырех каминов». Впрочем, поэт не нравился Ульпе. Он, по мнению прибалта, был слишком молчалив и бледен, много сидел за письменным столом. Я живо представлял себе гордое бледное лицо, прямые чёрные волосы, острый взор поэта, идущего смутной парижской улицей под «европейской ночью чёрной». Вот ведь, в лагере встретить знакомца Ходасевича — могло ли такое присниться? Однако случилось наяву. Уж за одно это спасибо судьбе.

Страшным видением лагеря были сумасшедшие. Я видел их немало. Один — литовец — от подъёма до отбоя быстро ходил вдоль колючек и вышек, широко размахивая руками и беспрерывно громко, порою до крика, бормоча. Большие карие глаза смотрели как-то пусто. Самокрутка дымила в зубах. Так ходил он день за днём все годы, сколько я его знал. Я видел раз или два, как литовцы подходили к нему, называли его по имени, начинали что-то говорить ему, но уже через несколько минут отходили прочь, а он продолжал ходить, громко бормоча и размахивая руками. Балис на мой вопрос, что же он говорит, пояснил, что бедняга выкрикивает обрывки слов, какую-то бессмысленную бесконечную магнитофонную ленту своего безумия. Как и всех прочих лагерных сумасшедших, литовца свели с ума на следствии зверскими пытками, на которые столь

щедра была сталинская година. Другой сумасшедший — украинец Федюк — был из полицаев. Тихо сидел он где-нибудь в углу и курил или в пошивочном цехе выворачивал рукавицы на колышке и даже выполнял полнормы, что для инвалида 2-й группы было вполне достаточно. К достоинству его как полицая принадлежало то, что он хотя бы не стучал. Ещё сумасшедший, белорус Адам, тоже был тих и смирен, но иногда начинал гулять, как говорят, по чужим тумбочкам, за что и бывал бит. Были и ещё сумасшедшие — старик-татарин Бабай, с которым случались жуткие приступы падучей, и пожилой украинец из полицаев, который обыкновенно стоял где-нибудь с рыхлой улыбочкой, наблюдая происходящее вокруг. Из молодых я знал только одного сумасшедшего — грека Деонисиади, история его трагична. Кто-то пустил про этого благородного доброго человека грязный слух — обычную лагерную парашу, что он, якобы, стукач. И, увы, сработало. Деонисиади был мал ростом, щупл да ещё одноглаз — и без того несчастен. И вот клевета его сразила, он сошёл с ума. Его увезли куда-то — не то в Казань, не то в Днепропетровск, в одно из тех дьявольских заведений, при мысли о которых бросает в дрожь. А стариков-сумасшедших так и держали в лагере среди нас. Это, конечно, откровенная жестокость, и оправданий этому нет. Порою цех по пошиву рукавиц напоминал сцену из пьесы Беккета — сидит в углу Федюк, что-то бубня под нос и уставившись в одну точку, по направлению к нему бредёт Адам, а за окном маячит размахивающая руками фигура шагающего, как всегда вдоль колючек, литовца. Оторопь брала, когда глядел на это. Чтобы закончить о старшем поколении зэков, скажу ещё несколько слов. Время заключения они воспринимали как-то странно. Как бы дело происходило в межпланетном корабле, где земные годы не властны. Старики считали, что они вернутся назад на волю — не только в родные места, но и в родные былые времена, и возраст их теперь тот же, что и в те часы, когда за дверью послышались роковые шаги гэбистов. И это ощущение пронизывало всё их существо. Они пребывали в некой консервации, в летаргии наяву. Словно бы не старели, что-то отжившее уже свой век смотрело из их выцветших глаз. Воспоминания о прошлом обретали плоть и кровь и порою в сознании зэка заменяли реальность. Это многих спасало от отчаяния, сумасшествия, ожесточения. Только поистине высокие люди жили нынешним днем и не строили иллюзий, а духовно росли и светились. Балис Гаяускас, Ильчук, Пришляк и немногие подобные им оставались живыми людьми в этом мире теней и призраков. А сколько всяких мистических озарений мерцало в смутном лагерном воздухе! Широко бытовала легенда о 12-

летнем цикле истории. Каждые 12 лет в мире совершались фатальные перемены — 1905-1917-1929-1941-1953-1965, следовательно, теперь — 1977, и его ждали со страхом и надеждой. И ведь правда, революции, войны, смерти и смещение владык как раз падали на означенные перстом года. Или какой-то факт политической злобы дня в умах зэков возвышался до знаменья. Отменили вышку (т. е. высшую меру) двум сионистам — 1 января 1971-го года — год обещает большие перемены. Такого рода провидчества нас, молодых, недавно с воли прибывших — только смешили. Но мы понимали их психологическую подоснову — горестную и трагичную. Ведь десятилетия гробовой безнадёжности оседали в сердцах этих бедных людей, и любое веяние лучшего оживляло в них надежды. Надежды, как и воспоминания, так спасительны! В конце срока я особенно хорошо понимал что творилось в душе старых зэков. Ещё была легенда о трёх силах в мире — советской, американской и еврейской. Притом, мировое еврейство дирижировало первыми двумя и руководило миром. Всё происходящее на земле истолковывалось в этом духе. А началось это, якобы, ещё с библейских времён. И Вавилон, и Рим, и третий рейх пали мановением еврейской руки, и Сталин умер, сражённый ею. За большевистский путь России вся ответственность также возлагалась на евреев. Евреем считался не только Ленин, но и Сталин, и Брежнев, и все, кто правит с тех пор Россией. Почему Сталин? Джуга-то по-персидски еврей! Брежнева выдает внешность. Да и Подгорного тоже. Из сказанного, наверное, ясно, как силён в теперешних лагерях антисемитизм. Только у литовцев и бандеровцев и некоторых групп молодых не замечал я его. Молодые зэки, к которым я принадлежал, представляли собой разношерстное политическое месиво. Но и здесь главным водоразделом была национальность. Кровь разделяла людей куда глубже идей и взглядов. Биология торжествовала над духовностью. Древние склоки предков ставились во главу угла сегодняшних отношений. Приверженность к национальному почиталась высшей доблестью. Лагерь оказывался на поверку концентрацией современного мира, грубо и открыто высвечивая то, что бродит в сумерках души нынешнего человечества. Увы, нацизм, это дьявольское детище XX века, чудился предтечей грядущих зловещих столетий, которым суждено прокатиться по Земле. И на многие ещё грустные размышления наводила лагерная действительность. Но вернёмся к ней.

Одной из первых встреч моих в лагере была встреча с представителями русского национального движения. Это была

известная группа из Ленинграда — Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа — сокращенно Весхасон. Были это люди, как на подбор, высокообразованные, знающие языки и мировую культуру, не говоря уж о русской. Существовала эта группа с 1962-го года, а в 1967-м году попали на скамью подсудимых 22 человека. Их предводитель — Игорь Вячеславович Огурцов — держался достойно. В ответ на приговор суда он прочёл свой приговор судьям. А получил он 15 лет строгого режима и 5 лет ссылки, и из 15-ти лет срока половину должен был отбыть во Владимирской тюрьме. Остальные вели себя, по их собственным рассказам, похуже… Про Огурцова я ещё слышал, что, пытаясь сломить его дух, подослали адвоката к нему домой, и тот стал внушать родителям, что сыну грозит расстрел, если он не смягчится, и они должны помочь следствию и суду. Но отец Огурцова — майор в отставке — ответил, что, любя сына больше жизни, не может, как гражданин, воздействовать на его убеждения, что это безнравственно. Был среди этой группы поэт Михаил Коносов, был знаток амхарского (эфиопского) языка Платонов, полиглот Устинович, подающий надежды литературовед Вагин и др. Но в лагере Вагин, например, щеголял антисемитизмом. Он и некоторые другие с евреями не только не общались, но и старались не очутиться на одной тропе, не оказаться в столовой за одним столом. В истории России идеалом для них были Николай I и Александр III — апофеоз русского православия и национального духа. Константин Леонтьев в философии, Достоевский «Дневника писателя» в литературе, Победоносцев и Столыпин в политике — вот, что привлекало Вагина. А маячил туманно за всем этим тяжёлый анфас Пуришкевича. Русские зэки из бывших уголовников и солдат тянулись к этому. Когда они шли по лагерным тропам — человек пять, и слышалось издали: «Византизм, жиды, Россия, Федор Михайлович» — в воздухе пахло погромом. Некоторые сожалели об отмене порки в России и хулили писателей-эмигрантов — и старых и новых. Сталин устраивал их больше, чем Ленин, в нём они видели гораздо больше русского, исконного. Иван Грозный был куда им ближе Петра Первого и «Клеветникам России» почиталось как венец русской поэзии. Они жили, как во сне былого. Но я подчёркиваю, что это моё впечатление относится только к некоторым из них. Ни Миша Коносов, ни Платонов такого впечатления не производили. Это благородные люди, как и их вождь (достойный этого звания) Игорь Огурцов, перед которым я преклоняюсь. А вот о Вагине мне рассказывали, что перед освобождением он попросил тайной встречи с одним из лидеров сионистской группы — Богуславским и сказал ему, что

не хотел бы в глазах европейского общественного мнения выглядеть антисемитом, что он уважает евреев, считает их замечательным народом, но в условиях лагеря вынужден был придерживаться другой линии, о чем сейчас сожалеет. Таков Вагин.

Сионисты начали прибывать в лагеря, когда мой срок близился уже к половине. Я видел их первую реакцию и постепенное вживание в мир колючек. Совсем разные и по возрасту и по образованию, они всегда были вместе, и странно было наблюдать людей на шестом десятке на равных общавшихся с теми, кто едва перевалил на третий. Вначале тихие, они постепенно смелели и в конце концов чуть не задавали тон, вызывая к себе определённое уважение политзаключенных. Это соответственно повышало и уважение к Израилю у многих зэков. Однако вместе представляя силу, по отдельности сионисты выглядели по-разному. Собственно говоря, их было две группы — самолётчики и так называемая элита. Среди самолётчиков был бывший пилот Дымшиц, рабочий из Риги Хнох и ещё некоторые. Это были смелые самоотверженные люди. Чувствовалось, что они жизнь положат за еврейский народ, за Израиль. Другие производили двойственное впечатление. Впрочем, преданность их Израилю не вызывала сомнений. Конечно, были среди них один-два человека нетерпимые и категоричные. Даже во времена Мафусаиловы они вносили дух склоки и интриги. Александр Македонский, по их мнению, был велик более всего потому, что хорошо однажды отнёсся к евреям. Евреи, подобные Иосифу Флавию, презирались. Чем ближе к современности, тем большую ненависть вызывали Фейхтвангеры и Эренбурги, а имена Пастернака и Мандельштама произносились обиженно. Я думаю, что подобные люди компрометировали и Израиль, и сионизм.

Молодые украинцы терялись в тени бандеровцев. По-человечески некоторые из них нравились мне. Особенно запомнились Назаренко и Коц — настоящие украинские демократы. Но были и такие, что вину, скажем, украинского юдофобства сваливали на Россию, а зверства Богдана Хмельницкого и дальнейших своих погромщиков вообще отрицали. Но один из украинцев нового поколения запомнился мне навсегда. Это был простой сельчанин. Когда власти задумали разрушить его родную церковь, он поднял крестьян и два дня они держались, защищая храм, где когда-то молились их деды и отцы. В конце концов, войска и милиция разогнали народ, а тот, о ком я говорю, получил 6 лет строгого режима. Этот худой измождённый человек и в лагере вёл себя мужественно и старался помочь товарищам, чем мог.

Были в лагерях и армяне. Одна группа села за несогласие с линией границы с Турцией, а также с Грузией. Другая проповедовала нацистские идеи. Это, конечно, производило самое дурное впечатление. Маленький гонимый народ — и такая группа (впрочем, всего три человека). Но из песни слова не выкинешь.

Грузин в лагерях я не встречал. Был один аварец — очень милый и славный юноша, был азербайджанец, был башкир, был узбек. Да и кого только не было…

А сейчас мне хочется рассказать о Юрии Ивановиче Фёдорове. Это был удивительный человек. Внешне он настолько напоминал Дон Кихота, что и Доре и Домье, увидев его, поразились бы мастерству матери-природы и почтительно склонили бы перед ней свои карандаши. Это был поистине восклицательный знак бородкой вперёд. И походка, и голос, и взгляд — всё напоминало великого рыцаря Ламанческого. Но судьба его была ещё удивительней наружности. Юрий Иванович до ареста был ни много ни мало капитаном УВД и служил на Литейном, 6, почти в Большом доме. Будучи старшим следователем, он знал и соседей — следователей КГБ. Юрию Ивановичу было лет 40, когда он разочаровался во всём, чему до того поклонялся. Идеалом для него некоторое время ещё оставался Ленин, всё дальнейшее он считал извращением. Потом он разочаровался и в Ленине. Юрий Иванович увлёк других, они основали так называемый «Союз коммунистов». Вскоре они были арестованы. Фёдорова всячески старались уломать не заходить далеко, обещали замять дело, восстановить на службе в прежнем звании. Когда это не прошло, обещали минимальный срок, чтобы только суд был закрытый, как у всех нас. Но Юрий Иванович отлично знал законы (что естественно) и умел их применять куда лучше наивных и шумных зэков, мало понимающих ситуацию, в которую они попали. Он добился открытого суда, и судил его трибунал. Получил Фёдоров 6 лет — это было в 1968 году, не самом жестоком; в 1969-м ему могли раскрутить всю катушку, а то и что-нибудь похуже придумать. Уже под следствием Юрий Иванович вёл себя подобно политическим былых времен. Когда входил к нему начальник тюрьмы Круглов, он не вставал с койки, а на замечания отвечал, что правила на стене — для уголовников. «Вы ко мне не постучавшись вошли, почему я должен вставать перед Вами?» Так же гордо Фёдоров вёл себя в лагере. Вокруг него группировалась демократическая молодёжь, он возглавлял все голодовки и протесты. Его почти не видно было в лагере, он был то в карцере, то в ПКТ (это то же, что и БУР), а в конце концов отправили его во владимирскую тюрьму. Человек он был

добрейший и деликатнейший, но непримиримый, когда речь шла о важном. Любопытно, что он картавил, подобно Ленину. Самым ценным в нём было не то, что он говорил, а тот отсвет, который его как бы окружал.

Подобным ему человеком был Кронид Аркадьевич Любарский, москвич, астроном. Я общался с ним всего одну неделю, так как он прибыл в лагерь, когда кончался мой срок и меня должны были отправить этапом в ссылку. В Любарском поражала душевная чистота, большая культура и настоящее человеческое мужество. Он попал за распространение самиздата и держался на следствии и суде достойно. Сейчас он во владимирской тюрьме и должен быть там до конца своего срока, т. е. 1977 года.

Была в лагере и светлая молодежь. Многообещающе выглядела вначале марксистская группа студентов из Киева, Рязани, Саратова и Петрозаводска. Это были сплошь отличники. Они и людей себе подбирали по институтам, ориентируясь на списки отличников, что висят около аудиторий. Весь теоретический их багаж составляли сочинения их вождя Вутки — киевского еврея — человека потрясающей одарённости. Его книги «Закат капитала» и «Анти-Боринг» написаны были, когда автору не исполнилось и 24-х лет. Это были подлинно научные работы, даже в КГБ их сравнивали с сочинениями Маркса и Энгельса. Кроме того Вутка знал превосходно иврит, идиш, наизусть цитировал Библию, с украинцами говорил по-украински к вящему их восторгу. В этой группе был без пяти минут прокурор Олег Сенин, он уже вёл дела, и когда сидел сам по 70-й, оказался однажды в одной камере с бывшим подследственным своим, чем поразил последнего до глубины души. Но в дальнейшем члены этой группы разошлись: евреи во главе с Вуткой — в сионизм, русские — к весхасоновцам. Это понятно — люди доктрин, теряя одну доктрину, ищут другую взамен и находят. Даже молодые ребята — марксисты из Свердловска (у нас был один из них, Владик Узлов, юноша на редкость милый и славный) под конец не избежали общей участи, и Владик, хоть и не так бурно, как прочие, — тоже. Интересно, что их марксизм более тяготел к чистому ленинизму, чем группы Вутки — Сенина. Была маленькая группка — забыл, откуда. Они стояли за возрождение сталинизма. Буквально месяца не прошло, как расцвели их души пышным цветом черносотенного русопятства, а ребятам было лет по 20. Получалось так, что тот квасной патриотизм, который так презираем был подлинной русской мыслью, сегодня порой мог показаться знаменем грядущей России. Я слышал, что этому ужасался Андрей Донатович Синявский, оставивший в лагерях по

себе добрую память как человек хороший, умный и благородный. Это ужасало и Юрия Ивановича Фёдорова, которого за сочувствие евреям называли полицаи «жидом», и других людей, не похоронивших в себе светлую Россию, но были и те, кто шёл за Россией чёрной. Даже группа из Горького, вначале радовавшая впрямь волжским каким-то душевным здоровьем, понесла урон — один из её членов — Пономарёв — не ушёл от почти всеобщей участи молодых в лагере. Павленков говорил мне: «Мы в нашей организации не проповедовали ничего безнравственного». Их группой была в числе прочего написана листовка, где ставился вопрос: «Кто же мы, русские, — нация Рылеева, Герцена, Чернышевского или нация доносчиков, стукачей, надзирателей?» Получили они от четырёх до семи лет, Павленков и Капранов — по семи.

Та группа, к которой принадлежал несчастный Деонисиади, была из Алма-Аты. Она расклеила тысячи листовок по городу, и не могли её «засечь». Но один из её членов по причинам сугубо личным покончил с собой, оставив записку, и записка эта погубила остальных. В ней было что-то политически предосудительное. 26-летний Удодов из Минска десять лет назад со своими сверстниками пытался возродить феодальные идеалы и рыцарские нравы. Один из группы был своими сотоварищами заподозрен в отступничестве, и остальные приговорили его к смерти. Но, будучи рыцарями, решили, что должна быть дуэль с предателем, и выпало драться с ним Удодову И шпаги скрестились. Удодов заколол подозреваемого и получил 10 лет, которые при мне и заканчивал. Когда теперь я слышу о

пламенных мальчиках, поверяющих высокие идеалы поступками и самой жизнью своей и непримиримых к тем, кто не выдерживает вдруг, — я вспоминаю сутулого бородатого Удодова, которому уж не 26, а все 46 можно было дать. 10 лет по лагерным тропкам вдоль колючей проволоки, 10 лет из столовки в барак, из рабочей зоны на проверку — 10 лет изо дня в день! С рыцарством не шутят в наше время, но избавь нас Господи от кристальных Робеспьеров, мыслящих гильотинно.

Рабочий из Керчи Чамовских подымал завод на забастовку, требования были чисто экономические. Тоже не обошлось без листовок. Срок — пять лет. Чамовских по сути своей был ближе всего к Юрию Ивановичу Фёдорову. Его чистая душа глядела из голубых его честных глаз. Он в лагере ни в чём не шёл на компромисс и не искал никаких лазеек благополучия и тихого житья. Но как мало в лагерях сегодняшних таких людей. Не хочется вспоминать о сломленных, жалких людях, не хочется называть имена…

Ладно, пришла пора сказать о прочих сотоварищах по несчастью, тех, кого мы называли солдатами. Это были те, кто служил в армии, находящейся в ГДР, а также в Польше, Венгрии, Чехословакии. Наскучив службой, от издевательств ли сержантов, старшин, а чаще по причине тяги к западной красочной жизни, эти девятнадцатилетние, двадцатилетние мальчишки ударялись в роковые свои побеги. Чаще всего их ловили, кое-кто возвращался сам. Всем им клеили, по-лагерному говоря, статью 64 (измена Родине), т. е. от 10 до 15 лет, и сидели они год за годом, мужая в лагере, лучшие, светлейшие годы отдавая проклятой колючке. Грустно было видеть их дичание и зверение. Почти все они были русскими, и немало их попадало в сеть национализма самого наипогромного толка. Притом они тяжелее всех в лагере переживали невольный аскетизм. Отсутствие женщин доводило их чуть не до безумия. Какая-нибудь замухрышка-медсестра рисовалась в ночных грёзах первой любовницей мира. Увидеть её или жену какого-нибудь офицера — это значило поймать сеанс. Они говорили: «Вот Иванова сеанс показала», т. е. что по лагерю мелькнула юбка и толстые икры этой самой Ивановой. И «попавший на такой сеанс» прятался в тёмный угол, чтобы вздрочить, отсюда лагерная поговорка: «Как хочет, так и дрочит». Солдаты не стеснялись громко рассказывать по лагерю о том, как дрочили и по какому случаю — не только живьём женщину увидев, а например, посмотрев кинофильм или просто на фотографию — это называлось «на карточку дрочить». Но педерасты в политических лагерях не водились, зато в бытовых это дело процветало.

Теперь о судьбах солдат. Они были в чём-то схожи, эти судьбы. Расскажу, что помню. Николай П. с товарищем, находясь на посту, привязали третьего караульного к столбу и ушли за границу, иногда оглядываясь на оставшегося, который безуспешно пытался вырваться и выплюнуть кляп. Беглецы попали в США, где им предложили военную или гражданскую карьеру на выбор. Николай выбрал военную, друг его мирную. Он и посейчас в США. Н. два года учился в школе ЦРУ, затем был заслан в Болгарию, где его и повязали. Срок — 12 лет. Это была личность неприятная, тёмная.

Его побаивались в лагере. Владеющий всеми приёмами дзюдо и карате, он с вечной усмешечкой на смазливом лице похаживал по дорожкам или играл в домино, и горе было тем, кто его обыгрывал. Одного он избил скамейкой едва не до смерти. За это Н. перевели в другой лагерь, только и всего. А вот солдат Г. границу перешёл, вернее, переплыл речку пограничную да оглянулся назад и не смог дальше идти. Так и вернулся сам на Русь — срок 10 лет. В лагерях он, как и Н., чиферил, дрочил, играл в домино, ругал жидов, слушал речи о великой России, на белом коне с белым мечом грядущей. Третий солдат — П., служил в ГДР и на машине, прорвав заслон, сквозь стрельбу и переполох помчался в американский сектор. Потом затосковал, решил вернуться и вернулся. Срок — 10 лет. Солдат К. бежал в Турцию, но не добежал. Срок — 7 лет, т. е. ниже низшего предела. Причина — удалось доказать на суде жестокость старшины, под началом которого К. служил. Был солдат, совсем мальчишка ещё, красавец, генеральский сын, он из германской группы войск, с товарищем пытался уйти на Запад. Их окружили, они залегли в сарае, четыре дня отстреливались, положили нескольких из нападавших. Их преследовали и советские войска, и гэдээровские. Товарищ того, о ком я говорю, в бою погиб. Наконец, атакующие ворвались в сарай, и советский капитан с пистолетом в руках бросился к Владимиру (так, кажется, его звали) с явной целью убить его. Он был взбешён и убил бы, но немецкий офицер грудью заслонил Владимира и не позволил совершиться убийству. Так и стоял, заслоняя его, пока всё не разрешилось, и не прибыли за Владимиром из ГБ. Срок — 14 лет. Владимир при мне начал только лагерный путь. Что с ним будет — Бог знает. Ясно, что лучшее своё — молодость — он потерял за решёткой. Отец отрёкся от него, приезжала к нему на свидание мать… Был ещё солдат, деревенский огромный парень, он ушёл из армии, стоявшей в Польше, добрался до Румынии, и здесь его выдала женщина, у которой он заночевал, скитаясь по деревням. Уже из лагеря он пытался бежать и к двенадцати своим годам

трибунальным получил ещё два. Солдаты более всего находили общий язык с полицаями и шнырями (как называли ещё надзирателей). Это понятно — мундир сближает, а теперешняя пропасть между ними не слишком глубока. Мало ли что ударит в голову буйной русской натуре — сегодня с вышки в зека целиться, а завтра махнуть через кордон — и поминай как звали. Солдаты были главными сквернословами по лагерю. Двух слов они не говорили без этого великого подспорья человеческого общения на Руси. От них шли всякие лагерные присказки: «Ты тюльку не гони» или «Ты кончай дуру гнать», а также «Канай, канай отсюда. А девочка — ништяк, эй, мужики, не борзеть, пошли кайф ловить, засунь язык в жопу, гребаный твой потрох» и т. п. От всего этого качалось небо над вышками. А в общем — жалко ребят, блудных щенков России. Что им улыбнется теперь в их ломаной-переломаной жизни…

Но противнее всего были в лагере вчерашние уголовники. В своих бытовых лагерях, проиграв в карты грязную свою жизнь, они решались для спасения её перебраться в лагерь политических. Для этого писали на заборах что-нибудь грубо-антисоветское или даже листовку корябали такую же, а то ещё выкалывали на груди: «Раб СССР», «Раб КПСС» — и пожалуйста, их переводили к нам. Поскольку романтический налет ещё не сошёл с подлых профессий вора и грабителя, их принимали у нас с интересом. Они этим искусно пользовались. Были они поголовно стукачами, чаю доставали, по их выражению, столько, что «хоть жопой ешь», а и политический зэк к этому лагерному зелью неравнодушен — многие грешили пристрастием к завариванию. Короче говоря, уголовнички в политических лагерях устраивались неплохо. Они тоже распределялись по национальному признаку, хотя фюреры нацгрупп порою несколько стеснялись таких адептов. Вот например Н., настоящий орангутанг, украинцам доказывал, что он тоже за самостийную без москалей и жидов, гарную родину. Н. уже видом своим заставлял вспомнить о тюремной камере, вонючих нарах. Про таких правду говорят: «Кому тюрьма, а кому — мать родна» или ещё — «Кому тюрьма, а кому — горница». Конечно, в наших лагерях уголовникам приходилось отказываться от излюбленной карточной игры, да и гомосекс у нас не в чести, как и скотоложество, что, говорят, у бытовиков встречается, и лагерные кобылы у них к этому привычны. Страшно всё и омерзительно, но ведь есть в жизни, и нельзя про такое молчать. Проклятое биологически усеченное лагерное бытие до чего только человека не доводит! Уголовники вообще на воле не приживаются, это для них чужой край, а тюрьма — родимая сторонушка. А в тюрьме, то

бишь в лагере, свои законы — и кобыла за жену сойдёт, и жизнь дешевле бубнового туза. Мне рассказывал один полицай, как после суда его везли вместе с урками. Ночью, лёжа на верхней полке, он поглядывал вниз на карточную игру. Один из урок проигрался вдребезги и поставил, наконец, на кон себя. Проиграл. Встал, медленно разделся догола и повернулся лицом к стене, спиной к людям. Трое поднялись с места, один вынул из кармана финку и уже нацелил её под лопатку голому, но тут не выдержал полицай, бросился с нар, заслонил обречённого, закричал, что не даст убить человека. «Тогда тебя замочим», — сказали ему. По счастью, набежали на крик менты, рассадили всех по разным камерам. Впрочем, проигранному обольщаться не стоило, долг за ним, а урки долгов не прощают. Проигрывают они часто и людей сторонних, и не только «на смерть», но и на педерастию. Вот что такое уголовник, и такова цена уголовной романтики.

Но не хочется кончать эти записи на такой ноте. Наши политические лагеря всё-таки иные. Добрая память о Балисе Гаяускасе, о Юрии Ивановиче Фёдорове, об Иване Ильчуке живёт во мне. А лес за заборами осенний, пёстрый, диктующий чуть не вслух стихи… Или весной — колючая проволока блестит, столбы отсырели, фонари сочатся. Ночной дождь в лагере… Ох, лагерь, лагерь, строки мои проштемпелёванные, запечатанные. Надзирательские свистки, окрики, собачий лай, тулупы и карабины на вышках. Охота смертная да участь горькая…

Этап

Когда меня втолкнули в карцер и дверь проскрежетала потюремному, я вспомнил слова Бориса Пэнсона, что каждый зэк должен посидеть в карцере, иначе это и не зэк. «Накликал, чёрт!» Ну ладно, на то и лагерь. Я не подчинился приказу начальника лагеря. Он велел разгрузить машину с опилками, а я был освобождён санчастью от погрузо-разгрузочных работ. Начальник был пьян, бледен и зол. «Ну, пойдём», — сказал он мне в ответ на отказ. «На пять суток его», — буркнул охране. Зэки в рабочей зоне провожали наше шествие любопытными взглядами. Дело шло к вечеру. Меня вывели из рабочей зоны и через весь лагерь повели в карцер. В помещении надзорсостава отняли ватник, шапку. И вот втолкнули в закуток. Три шага вдоль, полтора — поперек. Койка деревянная откидывается на ночь. Пенёк-столик и пенёчек-стул. Ни сесть, ни лечь. От окна холодом веет, от печки в стене — угаром. Книг, газет — нельзя. Даже бумагу на оправку дают не газетную. Еда через день. Что это — понял назавтра. Вечером дали мне ужин — кирзовую кашу и облезлый кусочек рыбы, кусочек черняшки, кружку кипятка, подкрашенного коричневой жижей. На ночь откинули доску. Постели не положено. Так и прокрутился всю ночь на доске от холода и угловатой неприютности голого дерева. Шныри заглядывали в камеру поволчьему, топотали по бетонному полу в коридоре. Утром — скрежет, крик, топотание снова. На оправку, мытье — минуты три, не больше. «Нечего рассиживаться, не у тёщи в гостях». Сунули в кормушку тёплую воду, уже без жижицы и кусочек хлеба — грамм двести. Это на весь день. Вот тут и пахнуло голодом, слабо ещё, но заметно. Я тот день держался молодцом, сочинял стихи, мерил камеру шагами туда-сюда, писал строки пальцем на пыльном стекле оконца. Два стиха сочинил, вчертил в пыль и ходил дальше, поглядывая на них иногда. За оконцем зарешеченным весна набухала. Я это угадывал, а увидеть нельзя было, решётки плотные, тяжёлые мешали. К вечеру пришла голодная тоска. Мечтал о завтрашней миске баланды как о радости чудесной. Думал, как буду каждый глоток впитывать, вбирать в себя, радоваться следующему за ним, как хлеб стану по крошкам лелеять, каждую крупинку обсасывать. Ночью дерево доски стало чуть ли не роднёй, так устал за день ходить.

С утра день потянулся, как болото. Ходить я устал, лежать на полу страшно — бетон под тонким настилом, сесть негде. Стой, как лошадь, у стены. Время умерло. Оно вправду иссякло. Осталась тяжесть недвиженья его. И я в ней. И нет этому конца, и

начала нет. Так и маялся. Понял истину этого слова — маяться. И наверное, не самое оно точное, есть в нём всё-таки двигательное что-то, маятниковое. А тут недвижимость была, безглаголие, что-то длинное и мутное. И когда принесли миску баланды, наконец-то, я уже и не верил, что время пришло — просто принесли еду, которую ждал, может, тысячу лет ждал, может, жизнь всю. И как я ел эту баланду, как вникал в самую основу состава её! Крупинку всякую, капустинку, картошки уголок чуял, как спасенье. Как хлебные крошки всасывал по одной! Думал, вот теперь-то я узнал цену пище. Теперь понял, как надо есть. Не глотать кусками, не жевать спешно сквозь болтовню и постороннюю мыслишку, а впитывать прямо в кровь свою, в плоть. Так я думал тогда. На собственной шкуре пережив голодные муки, понимал что к чему.

Так дальше и шло. На четвертый день уже не мог стоять долго, не выдержав, ложился на пол. Потом месяца два-три под лопатками болело, дохнул бетон в спину преисподним холодом своим. Когда вышел, наконец, из карцера, полчаса кружило-мотало, товарищи поддерживали за плечи, а то бы упал. Весна уже пришла в Мордовию, чернело, мокрело вокруг. В глазах зелено было и от карцера, и от весны.

Едва очухался от карцера, бросили на этап. Путь в Красноярский край предстоял долгий, сколько-то тюрем придется понюхать, сколько в Столыпиных помытариться! Выдали мне мою гражданскую одежду. Я её и не узнал, такой она мне показалась жалкой, чуждой. Пиджачок, заплатанные брюки. Кургузые ботинки, дряблые шнурки — за четыре года совсем отвык, забыл, что и бывают они — шнурки на ботинках. Старая фетровая шляпа, ей лет десять уже было. Всё оставил в рюкзаке, этап — та же тюрьма, даже хуже ещё. В лагерном надо и пройти его. Снова воронок, снова запихнули в стакан, дышать нечем, не видно ничего, только вверху вертушка поворачивается.

Дорога в Потьму славится по лагерям. Мне родные рассказывали, каково по ней и в автобусе. А в воронке каково? Я ещё утром суп съел сдуру. Едва начались кочки, колдобины, подкатило к горлу, пот холодный побежал по вискам. Я стал бешено барабанить в дверь. Солдатня (ребята молодые ещё совсем) сначала отругивалась, но, видно, уловила в моём голосе что-то, испугавшее её. Машина стала, стакан с треском раздвинули. Я вывалился из машины и прямо-таки упал на землю. Меня рвало несколько минут. Кругом стоял высокий зеленый лес. Берёзы, осины, сосны. Тишина. И я, изнемогающий на земле. И солдаты вокруг. «Скорей, скорей, вставай, быстро давай, в машину». И снова пошли прыжки да толчки, да провалы, да встряски. И солдатская горкотня сквозь железную стенку —

кто когда в наряд ходил да скоро ли в отпуск.

В Потьме ждала меня радость — лагерные приятели, везли их в Саранск, как меня когда-то, два года назад. Несколько сионистов, украинец, узбек. Разговоры были старые, лагерные. Сионисты говорили о еврейской проблеме, украинец — об украинской, узбек — о ценности национального вообще. Я пытался говорить о поэзии. Но понимал, что собеседникам моим она, в сущности, не нужна. Не до того им в их борьбе и судьбе. Как и миру не до того во все его времена. Грустно всё это, особенно в лагере и тюрьме, где так важно быть среди своих. Ведь кругом вышки, заборы, надзиратели, стукачи. Им-то до поэзии и подавно дела нет; а уж когда есть им до поэзии «Дело», так пиши пропало.

Несколько дней в Потьме прошли быстро. И вот Столыпин. Я в отдельном закутке, как особо опасный должен быть один или со своей статьёй. Меня это устраивало. Я устал от всех. На следствии одиночество страшило меня, сейчас радовало. Из других клеток слышались разговоры. «Начальник, воды». «Начальник, в туалет надо. Начальник, ей богу, обоссусь». «Начальник, в коридор нассу, веди, не видишь, не могу больше». «Воды! Волки противные, педерасты!» Вскоре в коридоре появлялся солдат и похаживал вдоль клеток, покрикивая: «Мужики, не борзеть! Сейчас смену сдадим, поведут вас. Не ахай, не ахай, проссышься ещё, не умрёшь». Потом начиналось вождение в туалет. Любопытные зэчьи лица сквозь решётки. Трое солдат, идущие сзади. «Быстрей, быстрей, другие ждут!» Тёплая вода, бегущая, вздрагивая, в кружку, после жёсткой селёдки и твёрдого хлеба булькающая потом в животе, как в грелке. И каждые четыре часа проверка, четыре солдата в клетку — ногами на койку, где ты лежишь, туда-сюда — ничего нет — пошли. Днём ли, ночью ли — всё равно. Головой ляжешь от двери — нельзя, не положено. Только головой к двери, чтобы свет вагонный в глаза и все громы коридора прямо по голове твоей. На то этап.

Рузаевку проехали, меня не высадили. Я и рад, быстрее на место. Получил снова сухим пайком. Следующая остановка — Челябинск. Снова воронок, стакан, и началось кружение по улицам. Сквозь щёлку мелькали дома, кузова грузовиков, фигуры пешеходов. Потом замелькали домики, заборы. Заброшенным, худородным показался Челябинск из воронка. Наконец, подвезли к тюрьме, где-то, видимо, на окраине города, кинули в отстойник (тюремный распределитель). Я стоял у стены среди других зэков. Остальные бродили туда-сюда от параши к двери, кое-кто сидел на корточках у стены. Я обратил внимание на одного, он сидел прямо на полу, в кулаке у него был зажат хлебный мякиш и он ел

его прямо из кулака. По жирному чернявому лицу его была размазана дряблая улыбка. Зэки, ходившие мимо, косились на него, что-то говорили по его адресу. Я спросил, кто это. «А это Галька, сука, мы её под нары в вагоне загнали. Ишь, хлеб жрёт с пола обоссанного, у, мразь, противная, гнида». «Как Галька?» — спросил я. «Ну, Генка она, петух это, мы её на х… насаживали в зоне». Я наконец живьём видел педераста, по-лагерному — петуха. (Стукачей, между прочим, зовут козлами — причём тут бедные животные, не знаю). А то, что я видел перед собой сейчас, было не человек, но что-то жидкое, склизкое, словно бы грязь на полу. Ужаснее в жизни своей я ничего не встречал. Вот что могут люди сделать с людьми! Этот несчастный толстозадый парень был в лагере проигран в карты, или продался за кусок сала, или был попросту изнасилован, — всё бывает у бытовиков. Человека ночью хватают с постели, насилуют, и он отныне — пария, подтирка для остальных. У педерастов в лагере особые секции, свой стол в столовой, свои миски и ложки, на этапе они под нарами и не смеют нос высунуть, пока их не позовут. Администрация знает об этом, но мер не предпринимает никаких. Это происходит и по сей день, и сию минуту. Гнусный блатной мир — будь ты проклят! Все эти «суки ссученные», «падлы позорные», которые грозятся остальным всем «шнифты выстеклить», «жопу на свастику порвать»… Ну вот, вывели из отстойника, повели…

В тюрьме первым делом шмон. Маленький капитан с квадратными ушами и коротким носом придирчиво рылся в моих нехитрых пожитках. Я заявил о своей статье, о том, что положено меня содержать отдельно. Он злобно закричал: «Не хочешь с людьми — пойдёшь в подвал». Я ничего против не имел. Вели меня по коридорам прямо-таки в подземелье. Редкие камеры и длинная тёмная стена. Камеры молчали, хотя за дверью в некоторых маячил свет. Наконец, меня привели. Это был глубокий подвал. Оконце маячило у потолка. В камере было четыре койки в два этажа, столик, стул. И я один. За дверью после возни с ключами и шагов упала тишина. Только свет в потолке чуть мигал, словно разговаривая со мной. Я прилёг на одну из нижних коек и вдохнул тишину, одиночество, вечер. Потом был ужин, мысли о будущем, о недавнем прошлом.

На другой день с утра вдруг захотелось мне писать. Авторучку отняли — в тюрьме на этапе не положено, а карандаша у меня не было. Не помню, был ли бумаги листок. Не знаю почему, стал я искать карандаш в камере. Конечно, его не было. Но душа моя взмолилась всей силой о карандаше. Господи, как я хотел найти его! Под кроватями, среди тёмных, цепких их пружин, на батарее, под батареей, на окне, на столе, под столом. Господи, как я хотел найти его! Под каждой ножкой стола, стула, в каждой выбоине пола, снова на столе — неужели же нет? Ведь нужно же мне! И потрясён был до глубины сердца, вдруг увидев огрызочек карандашный в проёме между одной из ножек стола и крышкой его. Огрызочек этот маленький, как продолжение пальца, круглый, с толстым грифельком, с голубоватой, обшарпанной, деревянной шкуркой словно ждал меня, моего душевного моления к нему. Я долго хранил его; только в Сибири и потерял нечаянно, в КПЗ, на шмоне очередном. Несколько стихов в пути начирикал я этим карандашиком. Само его явление во многом побудило меня к сочинению этих стихов, потому что в тюрьме мне не писалось, неба не хватало. Так целый следственный год у меня почти ни строки не было. Между тем, пока я радовался карандашику, наступил обед — баланда челябинская хуже мордовской, хотя баланды эти все «хуже». Едва я покончил с ней, меня крикнули на этап, недолго же поблаженствовал я в челябинском подвале. Снова воронок, снова Столыпин. На этот раз без разговоров в одиночную клетку. В путь!

Этап до Новосибирска проходил обыкновенно. Снова крики,

визги, ругань, мельтешенье солдатни сквозь решётки. Тёплая вода, грубая селёдка, скудный кирпич хлеба. Иногда над мутным невиденьем оконного стекла открывали солдаты верхнюю щель — и мелькали поля, перелески, стога, стада, избушки, изредка люди, а вдалеке за всей этой картинкой — небо, с разбега метнувшееся за леса, за поля, за даль земную. Это были лучшие минуты в этапной жизни, не входившее в программу явление природы замордованному людьми человеку. Не у всех хватало сил на эту радость.

Везли двух «полосатиков», один из них был болен. Он всё время просился в туалет. Но снисхожденья ему не было. Лейтенант показался раз (мордастый ванёк в мундире), получил от полосатиков матерные проклятья и угрозы и пропал. Солдаты либо молчали, либо, пролаяв свою ругань, уходили. Однако вскоре явились все вместе (правда, без мордастого лейтенанта), открыли клетку, в которой на верхних нарах лежали полосатики, и начали стаскивать их вниз. Здорового свалили быстро, а больной боролся, отчаянно ругаясь. «У, распроебанские волки, козлы вонючие, мрази поганые. Лейтенант, курва, где ты, блядский род, я тебя удавлю!» Обоих полосатиков уволокли куда-то по коридору, видно, в этапный карцер. Злоба этой расправы устрашила обычно шумный вагон. Тихо тарабанил и вздрагивал поезд, переваливаясь на своих утиных, железных лапах. В окнах темь мутная, намертво белесая непроглядная стена стекла — специально по-тюремному закрашенная. Чтобы не видел зэк людей и его не видели. И везли, упрятав, а то ведь кто их знает, людей. Из них ведь, не из кого другого, зэки-то и берутся. Что у них, у людей, на уме — про всех никак не узнаешь, нет таких машин марсианских, всё пока по-земному: «Расскажите всё сами, вы поможете следствию, это облегчит вашу участь, суд учтёт ваше чистосердечное раскаяние. А иначе…» И готово дело, техника старая, но верная. Но всех-то, всех не посадишь на этот стульчик, не спросишь этак вот. Так лучше и спрятать схваченного от людских глаз за железы, за мутные стекла. Пусть орёт, вопит, на решётку кидается. Усмирят. Приглушат. И не таких утихомиривали.

Привезли в Новосибирск. Поезд долго стоял на дальних переездах, в туалет не выводили, воды не давали. Вагон роптал. Наконец, подогнали с какого-то чёрного хода. Людей кругом не было. Потом прошли две женщины, из вагона посыпались крики: «Девка, покажи жопу, иди сюда, я тебя в…у» и одновременно: «Бабы, дайте папирос». Хмуро оглядываясь на наш ощеренный щёлками вагон, две эти женщины — средних лет, бедно одетые — торопливо ушли. Тем более что солдаты орали на зэков и

задвигали везде окна. Запах махорки, дорожной серой неухоженности и грязного зэковского белья сразу сильнее бросился в нос. Начинало мутить тошной духотой. Вагон орал и бился, требуя открыть щели.

Я тоже кричал охране, грозил жалобами прокурору. Но всё было зря. Только когда прибыли воронки из города, нас стали высаживать. Меня вывели одним из первых. Было уже сумеречно. Как особо опасного, меня отвели в сторону и прикрепили ко мне отдельного солдата. Этот молодой парень в очках, лет девятнадцати, крепко держал меня под руку. Он был типичный студент-первокурсник, высокий, здоровый, как большинство в этом новом поколении. Очки и добродушное полное полудетское лицо придавали ему сходство с Пьером Безуховым. А держал меня он крепко, и автомат за его спиной сработал бы добротно, стоило мне чего-нибудь там затеять. Этот новейший «Пьер Безухов» живо заработал бы себе отпуск, уложив меня (их так поощряют за стрельбу по зэкам, пытающимся бежать). Так и держал меня этот солдат, пока не пришло моё время лезть в воронок. Задвинутый в стакан, я в щёлку стал наблюдать город. Он показался широким, открытым, шумным. Я впервые после лагеря видел улицы, проспекты — вернее, обрывки их, мелькающие сквозь жалюзи. Рядом в стакане кому-то было дурно, он просил солдата пересадить его, но тот — белобрысый, мужланистый — равнодушно бормотнул ему: «А мне по…ть» — и переставил автомат к другому колену. Вскоре путь кончился. Нас завели в тюрьму. Снова кинули в отстойник. Снова параша и голые стены — ходи, стой или сиди на корточках, как любят сидеть бытовики. Прислонил я рюкзак к стене, сел на него, глянул вокруг. Вдруг заскрежетали знакомым скрежетом двери — подсаживают кого-то, видно. Это в жизни зэка волнующий миг — кого же Бог пошлёт? И страшно и любопытно. Дверь отошла, и один за другим в отстойник повалили полосатики — у меня сердце захолонуло. Кавказские бешеные глаза, монгольские косые скулы, русские приземистые плечи — всего человек восемь. Но было всё, как в доброй сказке. Один из полосатиков первым делом рванулся ко мне — как тебя зовут, кто ты? Я сказал. «Очень хорошо, Толик, ничего не бойся, мы политиков уважаем, я — Магомет-чечен, это все наши ребята хорошие». «Что-нибудь везёшь с собой?» Я показал. «Нет, Толик, не возьмём, у тебя самого мало». «Возьмите, ребята, я от души, знаю, каково вам, слышал о ваших зонах». Мне вправду стало светлее вдруг, и потянуло к этим людям. И монгольские скулы (то был бурят) не страшили, и кавказские глаза согревали, а не бросали в дрожь. А ведь полосатикам есть от чего ожесточиться. Их режим — особый.

Как во времена инквизиции, они обряжены в шутовскую полосатую форму, только бубенцов не хватает. Жизнь у них тяжелее, чем у всех нас. На строгом режиме одна посылка и две бандероли в год, одно личное свидание и два общих, а у них одна бандероль и одно общее свидание — и всё. Живут они в камерах, на работу их выводят в другие камеры — каторга из каторг. Зато и держат они себя, как в лагерях говорят — «в наглую», начальство кроют в бога-мать. Оно с ними старается не заводиться, к добру не приводит… Между тем, набрав бумаги, мои сотоварищи стали её жечь в раковине туалета, один держал над огнём кружку с чаем. Бумага чернела, дымилась, дым ходил по камере, ел глаза. Видно, он пополз в коридор, дверь отворилась, в отстойник ворвались менты. Кружка куда-то исчезла с моих глаз, полосатики сгрудились в кучу и на крик надзирателей отвечали пущим криком: «Ничего не знаем, иди, начальник, по-хорошему, всё будет тихо, карцер твой на фую видели». И начальники, хоть и погрозив, но сильно сбавив тон, ушли. Появилась на свет кружка, один из полосатиков голой рукой держал её кипящую у себя за спиной. Я поразился силе его духа. Чай пошёл по кругу, я отказался, отговорившись тем, что вообще не пью. Мне было жаль отнимать у ребят глоток драгоценной для них жидкости. Это их ещё больше ко мне расположило. Они смотрели на меня во все глаза, жадно расспрашивали о воле, о делах международных, обо всём, словно вчера ещё я ходил по Ленинграду, а прошло ведь уже 4 года моего лагерного жития. Они же волокли срока большие — кто 10, кто 15, кто 20 лет. Почти все сидели за убийство, один, армянин, имел семь убийств на счету и был помилован по личному слову Брежнева, до которого добралась его старенькая, жившая в горном ауле мать. Когда пришла пора расстаться с полосатиками, мне и впрямь стало грустно. Меня повели в камеру.

Она была в подвале, но не таком глубоком, как в Челябинске. Камера оказалась длинной, как коридор, на удивление большой. Стояло три койки, но я-то был один! И снова я обрадовался этому. За окном темнел вечер. Стекло было разбито, и поддувало холодным ветром. Но я холода не боялся, я ходил по камере и радовался, какая она большая. За дверью громыхали порой сапоги надзирателя, но я теперь почти не обращал внимания на глазок. Я ходил и думал, что эта камера велика, как прогулочный дворик, а так как из окна дует, то я словно бы на прогулке. Кстати, в Челябинске прогулочный дворик оказался самым большим из всех виденных мной. Туда даже воробьи залетали и глазели на меня, чирикая, очевидно, в мой адрес. Здесь, правда, воробьев не было. Дуло из окна всё сильнее, и темнело. Наступало

похолодание, да и Сибирь дышала, видать, своим студёным нутром. Я стал слегка мерзнуть. Пора было уже спать. Делать нечего, я прилёг на утлый матрас. Железо койки звякнуло подо мной. Лампа вверху светилась тупо, бледно, тоскливо. Укрывшись хиленьким одеялом, я попытался уснуть. Многолетний зэковский навык сработал — это мне удалось. Зэку ведь уснуть — первая радость, поесть — вторая. А всё остальное — срок, который у каждого свой и который каждого давит. Проснулся я от собственной дрожи и зубовного лязганья. Меня трясло всего с головы до ног. Я ничего не мог с собой поделать. Я вскочил с постели, стал приседать, бегать, ходить. Предстояла бессонная ночь в ходьбе, в беготне, в дрожи и зуб на зуб непопадании. Пробегав полчаса или час (а была глубокая ночь уже), я стал барабанить и тулумбасить в дверь. Ногами, кулаками, нажимать на звонок, кричать благим матом. Наконец замаячили шаги и, бетонней всё стуча, приблизились. Кормушка открылась. «Чего блажишь? В карцер захотел?» «Здесь в камере мороз, температура ниже нуля! Это издевательство! Переведите меня в другую немедленно!» Кормушка закрылась. Вскоре, приложив ухо к двери, я услышал голос этого надзирателя. Он по телефону толковал начальству: «В четвёртой камере замерзает. Да, там окно выбито. Говорили же, что не надо сажать в эту камеру. Конечно, уже третий или четвертый случай. Если он до утра дубаря врежет, нам за него не поздоровится». Разговор окончился. Кормушка открылась, заспанное лицо надзирателя показалось в проеме. «В 6 утра переведём. Сейчас некому». «Это безобразие. Здесь ледник». «До шести утра нет никого». Кормушка закрылась.

Теперь большая камера уже не радовала меня. Я бегал и ходил по ней, вглядываясь в бледнеющий за окном отрывок неба. Мне чудилось, что моё упорное вглядывание в эту бледную насупленную ещё ночным омрачением даль как-то раздвигает, рассветляет её, приближает к утру, к свету и моему освобождению от неубывающего этого холода, от этой заброшенности в леденящем сибирском застенке. А за окном бледнело едва-едва. А я всё ходил, бегал, приседал, дрожал, злился, подходил к двери, слушал, но ничего не слышно было. И когда я совсем уже отчаялся, внезапно стукнули шаги у двери, она открылась, ржаво скрежеща, и высокий офицер в очках сказал мне: «Пойдёмте». За ним стоял ночной мой надзиратель, чей телефонный звонок вызволил меня из этой каменной ямы. Мы с офицером шли вдвоём, надзиратель остался на своём месте. Сквозь тюрьму, как показалось мне, сквозь переходы, какие-то перегибы коридоров, лестниц, тупиков мы вышли, наконец, по-моему, несколькими этажами выше в ярко освещённый коридор.

Здесь была бельевая, я увидел двух-трёх бабёнок из хозобслуги, они с жадным зэчьим любопытством посмотрели на меня. Вдруг офицер остановился и стал открывать не замеченную мной дверь в стене напротив бельевой. «Входите». Дверь замкнулась. Я не успел даже ничего сказать. Это был настоящий пенал, поставленный вертикально. Метров шести-семи высотой и метр в ширину. Не ляжешь, только сесть можно, и то по-турецки! Вверху, прямо над головой в потолке круглая, яркая лампа. Ни окон, ни вентиляции. Тёплый спёртый воздух. И хоть стало мне тепло, и я сразу ожил, но кошмарность сооружения, куда меня бросили, потрясла меня. Это был словно сюрреальный сон или космическая галлюцинация. А проще говоря, была тюрьма в полном своём явном виде. Я кое-как уселся на полу, прислонился головой к стене. Нажал на звонок. Явилась тут же надзирательница, молодая ещё. «Долго мне здесь мучиться?» «В 9 часов придёт начальство, решит, куда вас. Без них не имеем права». «Здесь дышать нечем». «Подождите, скоро придут». «Дайте воды». «Сейчас». Напившись, я попробовал уснуть, несмотря на духоту и яркий свет. Такова усталость зэковская, что она сквозь всю дьявольщину тюрьмы продирается в сон. Я уснул, проснулся часа через полтора с тяжёлой головой, всем дыханьем своим чувствуя, как не хватает воздуха. Ощущение даже слабого удушья способно довести до сумасшествия. Но надо было терпеть, время шло к девяти. И я терпел. Наконец, дверь открылась. Ещё весь словно стиснутый адским этим пеналом, я шёл за ментом, уже не мечтая об одиночке. Что-нибудь одно: либо люди, либо холод. Уж лучше люди. Я помню, мы поднялись ещё на этаж и пошли по коридору, густо населённому камерами. Из верхних щелей маячил свет, раздавался особенный, нестройный гул, в котором угадывались зэковские голоса — это был гул тюремного мира, столь теперь близкого мне. У одной из камер остановились, снова огромный ключ в руке у мента, дверь открывается, и я вхожу в камеру. В такой я оказался впервые. Большая широкая камера, вся полная людей. Внизу, вверху густо. Отовсюду лица, пятки, спины человеческие. Я сразу приметил две-три морды, у которых на лбу было написано, кто они такие. Опущенные животные рты, срезанные лобные скосы, маленькие пустые глазки. Я увидел нескольких татар, державшихся вместе, говоривших по-своему, увидел и пару добрых молодцев деревенского вида; самодовольно восседал в углу, петушино откинув голову, представитель кавказского племени — армянин или грузин. Было немало и молодёжи, всего человек тридцать. Два стола, параша, на которую то и дело кто-то взбирался. На стене у двери надписи: статья такая-то, пробыли столько-то, столько-то человек. Самое малое

сидели здесь все дней по 8, 10, 15. От такой информации стало тошно. Но что было делать? Камера встретила меня довольно равнодушно. «Политический — какие сейчас политические? Вот при Сталине!» «Не меньше семи лагерей? — Вот как. Что? За стихи? Бывает же». Это были большей частью воры, грабители, убийцы, насильники, хулиганы, спекулянты и даже один алиментщик весьма добродушного вида и говорливый, как воробей. Принесли завтрак. Я обратил внимание, что в камеру дали грязные ложки и зэки сами стали их мыть. «Почему так?» Не успевают, мол. «Нет, ребята, это надругательство, надо в обед отказаться, пусть дают чистые ложки». Мне удалось возмутить человек пять-шесть, потом десять-пятнадцать. Самая мрачная братия, восседавшая на нарах, в смуте участия не принимала и глядела без одобрения. Меня больше всего поддерживал алиментщик, и татары кивнули мне ободряюще. Забренчал, забулькал в коридоре обед. Открылась и наша кормушка. Я отказался от грязных ложек, заявил протест, потребовал начальства. Мне что-то пробурчали, кормушка закрылась. Обед пошёл бренчать и булькать дальше. Минут десять мы в камере шумели и обсуждали свинство администрации. Прошло ещё минут десять. С верхних нар стал доноситься ропот. «Оставят совсем без жратвы, мы не такое видели, чего золупаться с ними, мы за двадцать лет нагляделись, и не таких говорков успокаивали. Ишь, чистоплюи нашлись, раньше руками бы голыми выловил эту баланду из миски, а теперь ложки не подошли». Я увидел, что всё больше хмурых тяжёлых взглядов сходится на мне. Уже и поддерживающие меня вначале примолкли, первый самый из них — алиментщик. За дверью было тихо, обед удалился в другие коридоры. Сердце у меня упало. Не знаю уж, чем бы всё это кончилось, но вдруг совсем близко раздался знакомый бренч, стук, бульканье, открылась кормушка и в неё подали чистые ложки. А за ними миски с баландой. «Ну, вот, — не удержался я, — а уже струсили. Зато теперь, как люди, сможем поесть». Сверху невнятно промычали что-то, но я был счастлив. Моя взяла. Я расценивал этот случай в тот миг как политическую борьбу за достоинство, как наглядный урок уголовникам что такое политические. Как бы там ни было, уважение ко мне повысилось в камере, и так было уже до конца. Один только кавказец поводил в мою сторону недобрым взглядом своих смутных набрякших глаз.

А камера напоминала Содом и Гоморру. Дым ходил волнами, курило зараз человек двадцать. На параше постоянно кто-нибудь восседал. Разговоры в разных углах камеры то вспыхивали, то затихали. Ходить практически нельзя было. Читать тоже, да и

нечего. Голова моя болела. Время шло медленно, я томился, и надписи на камерной стене наводили на меня всё большее унынье. Несколько дней в этой камере показались мне веком. Говорить было не с кем. Я слушал. А разговоры не прекращались, как и курение.

— Хорошая там тюрьма — выходить не хотелось.

— А ты, что же — 122-я? Ну, я же вижу, что ты бич, я же вижу. И сколько лет бичуешь? А? По глазам вижу, что бич.

— А она лицо в сторону отворачивает, лежит, как кукла. Что ж я, механически должен, что ли? А люди мне сказали, он в школе с ней и работает. Я взял нож старый, какой попался, пошёл, иду по коридору к учительской — а они навстречу, рядом. У меня свет в глазах замутился, я с ножом на него, она заслонять, я её, потом его. Восемь лет дали, скостили до шести. Сейчас на химию.

— Говорят, другая химия хуже лагеря.

— Бывает. И менты, и бараки, и вышки. А где-нибудь попух — снова в лагерь, а химия эта х… не в счёт.

— Слушай, дарагой, пажалуста, не харкай сюда, пажалуста.

— Ну что, питерянин, ешь селёдку, у меня ещё с этапа осталась (это ко мне). Давно я в Питере не был. Ты, говоришь, политический. Х… это всё, детство. Сидишь за тетрадки. И не погулял на воле, как надо. Я? Я и волю, и тюрьму знаю. Туда-сюда. Зато есть что вспомнить. А на воле скучно. Делать там нечего — с работы домой, на верёвочке мотайся всю жизнь.

— Ой, б… где ж я тебя видел (это снова вокруг). Ой, б… да не в Гусь-Хрустальном ли, а? Нет? А чаю пожевать в заначке нету, а? Эх, где ж я тебя видел?

— Эй, политический, давай твою шляпу на ушанку махнём, а? Хочу в шляпе походить на химии. Тебе ж в Красноярский край, там холодно. Смотри, моя шапка крепкая. Велика? Х…, ушьёшь. Ну давай, а, давай. Эх, я думал, хоть политические — люди. Раз в жизни хотел шляпу поносить. Не везёт.

— А этот вот парень в групповом изнасиловании участвовал. Их в лагерях зовут — взломщики лохматого сейфа. Не любят их по лагерям.

— А я себе два спутника в х… вживил, пришёл в лагерь, вдул петуху, он, сука, три дня прыгал, корячился, за жопу держался. А как выходить — вырезал. Пожалел бабу. Испортишь ведь её, никто больше не нужен будет, только давай, чтоб х… рогатый. А мне с ней жить ещё, да ей мне передачи носить…

— А я тебе скажу: все эти апостолы — они же все заключённые, как мы. Ты почитай, они все заключённые. Им всем потом вышак дали. Ты почитай, почитай.

— Ну что, начальник, косяка давишь, у нас все дома. Ужин давай, ментовская морда!

И так продолжалось час за часом дня четыре. И когда внезапно открылась дверь и какой-то чин по бумажке прочёл в числе прочих пяти-шести фамилий мою, я возликовал. Скорей бы, скорей. К чёрту эту арифметику — день за три, тут за день вылущат так, что в месяц не залатаешься. В путь, в путь. В Красноярск.

В этом этапе я чувствовал, как устал уже от всей грязной, по-особенному тревожной, дорожной жизни. И лагерь помянешь лихом, а уж этап…

Перед отправкой из тюрьмы, как всегда, был шмон. Солдаты действовали грубо, и я потребовал соблюдения правил, в которых сказано, что наказание не ставит целью унижение заключённого. Я часто тыкал всей ментовской своре в нос эти слова из кодекса, но помогало мало. Хотя и не возражали, даже оправдывались. А делали, как хотели.

И теперь вмешался лейтенант, молодой, полнолицый, глаза с поволокой. «А что это у вас — витамины? Не положено. Для здоровья нужно? Так мы для вашего же здоровья. Ещё отравитесь, а нам отвечать. Нет-нет, по правилам нельзя. Вы же законы знаете, вон как говорите. И ложки нельзя из нержавейки, выдадут вам алюминиевые в Красноярске, не волнуйтесь. Выбросьте ложки (это к солдатам)!» И в таком духе продолжался этот шмон перед отправкой. Наконец снова вагон, снова отстук, выстук, вздрог, покачка, раскачка, свист, гул, рокот. Снова топотанье конвоя в коридоре, зэчий перекрик в клетках, щели над мутью стекла, а в щелях — небо и земля, зелень и синева, в щелях — воля. Конвой в этот раз попался неплохой. Два солдата из трёх прямо-таки симпатизировали мне. Даже жаловались на своего сержанта. «Ты политический? За стихи? А что, пишешь и теперь? Прочти что-нибудь». Я прочел несколько осенних строк, несколько старых, армейских ещё. Понравилось им на удивленье сильно. «Тебе ж печататься надо! Такие стихи, я осень увидел! Хорошо». Щель напротив моей клетки почти всё время была открыта. Я смотрел на Сибирь и находил её совсем русской, просторной и тихой. Так прошло несколько дней, пока не добрались до Красноярска. Довольно быстро пришли за нами воронки. Солдат из красноярского конвоя сразу удивил тем, что предложил пачку чая за наличные — покупайте, мол. Такой торгашеский разворот красноярской охраны был мне несколько внове. Впрочем, я, в отличие от некоторых даже политзэков, был далёк от подобных дел. Чего Бог не дал, того не дал. Между тем привезли в тюрьму. Меня снова повели в подвал и снова в одиночку. На этот раз с

окнами всё было в порядке. Я предвкушал одиночество. Первый вечер так и было. Но тюрьма имела недостаток — отсутствие канализации, по крайней мере, в подвальных этажах. Приходилось выносить парашу самому. И вот утром я поднял парашу, чтобы отнести её, и отшатнулся. Под ней лежала дохлая мышь. Этих зверей, да ещё сестер их крыс, я боюсь, как огня. Я вызвал надзирателя. Пришла молодая женщина в форме и тоже дёрнулась вся. «И я их боюсь, сейчас позову девочек из хозобслуги». Девчонка-зэчка из хозобслуги со смехом подхватила мышь за хвост и сделала несколько рывков в мою сторону и даже в сторону надзирательницы. Мы с омерзением откачнулись. После чего они удалились, а я остался в камере, но уже в некотором беспокойстве — соседство мышей мне не улыбалось. Днём водили на оправку, и я заметил в гальюне несколько тёмных юрких теней, метнувшихся по углам, едва я вошёл. А вечером меня, как назло, перевели в другую камеру, как раз напротив гальюна, и начались мои мытарства. В камеру то и дело заскакивали то одна, то две мыши и нахально скакали у стола и около кроватей. Я отломал ножку от стола и попытался заткнуть тоненькую щель между полом и дверью. Но эти чёртовы мыши в эту щель, куда и мизинца не просунешь, проникали, как резиновые, и нагло прыгали, катались и мелькали у двери. Я стучал, топотал на них, они шустрым катом темно промелькивали под дверь, а меня, как магнитом, тянуло смотреть туда, и через минуту-две, вправду, появлялся хвостатый комок, цепко скользил по отвесной двери наверх, скатывался вниз, крутился у двери, норовил ближе к столу. Я стал бить в дверь, звонить, кричать. Огромный надзиратель, наконец, явился на шум. «Здесь антисанитарные условия, мыши в камере». «Вот невидаль — мыши. Не съедят они тебя. А ещё мужик». С этими словами проклятый амбал и ушёл. Я остался с мышами. Не помню, как я и уснул, забравшись на самую верхнюю койку. К великому счастью моему, наутро подняли на этап — а вот куда, я теперь и не знал. В отстойнике шёл разговор о страшных ссылках, где хуже ещё, чем в лагере, где лесоповал и лесосплав. Один парень сказал мне: «Вот ты выйдешь, а денег-то нет. Ясное дело, кого-нибудь опять на уши поставишь». Я разубеждать его не стал.

Этап из Красноярска продолжался всего сутки. Но для меня он тянулся бесконечно, да я и не знал тогда, сколько он продлится. Особенно в этот раз раздражали проверки, которыми одолевал конвой каждые несколько часов. Когда среди ночи они опять ворвались в камеру, стали дубасить сапогами по нарам, по полу, косить прямо в глаза ярким жестоким фонарем, я не выдержал. «Вы палачи, вы пытаете, как фашисты. Ничего не

положено — просто издевательство. Куда я денусь из этой клетки? Просто ведёте себя, как фашисты». Солдаты — здоровые, высокие парни во главе с сержантом, который очень походил на былинного богатыря — пошипели на меня: «Ладно, говорите вы много, всё по закону» — и ушли дальше, и я слышал их топот и стук в других клетках. Но утром сержант заявился к моей клетке. «Что же вы, гражданин, нас фашистами назвали, палачами. Какие мы палачи?» Его добродушное лицо Добрыни выражало огорчение, но говорил он с некоторой ядовитостью. «Вы-то сами день рождения Гитлера отмечали, а нас же ещё фашистами ругаете». «Я не отмечал, посмотрите в деле внимательно». «Да мы посмотрели». «Нет, уж посмотрите как следует, я за свои стихи здесь». Сержант ушёл. Однако в следующий раз, проходя, он оглянулся, посмотрел на меня внимательно, а через несколько минут, опять проходя, остановился. «Ну что, гражданин, скоро на место». «Да, видно, так. А куда везут, не знаете?» «Сейчас схожу, посмотрю». Он ушёл и вскоре появился вновь. «В Курагинский район». «Спасибо вам». Я крикнул по вагону — что за район, Курагинский? «Да хороший, — послышались голоса, — не холодно и работа всякая есть». А поезд шёл всё дальше, всё больше углубляясь в Сибирь, в которой предстояло пробыть без малого два года. Потом на остановке привели в вагон хакаса, он, по его словам, ударил кнутом пастуха за какую-то обиду, и теперь ему грозила 206 статья, года два срока. Размашистый разлёт скул, широкие глаза, крутая посадка плеч — так вот они каковы, хакасы, исконные сибирские жители! И впервые за весь этап ко мне в клетку вдруг подсадили политического — это был украинец из 19-го лагеря, я его там видел издали, а знакомы не были. В клетке этапной и познакомились. Срок у него — 6 лет лагеря и 5 ссылки, и туда же, в Курагинский. Это меня обрадовало, не одному лихо мыкать первое время (а позже я ждал в ссылку жену).

И вот остановка, нас выгружают. Газик уже ждёт нас, тоже клетка на колёсах. Я ещё сдуру поздоровался с местными ментами. Мне, конечно, не ответили. И затрясся газик по камням и колдобинам Курагинским. Повезли нас в КПЗ. Камера, как коридор, без окон, дыра вентиляции дрожит в стене. По стене нары, в углу параша. Да три зэка по хулиганке — местные. Один на старуху-соседку вилку поднял, когда пришла учить его уму-разуму пьяного в дым, другой бичевал, третий — пацанёнок лет семи — грабил ларьки на предмет поедания конфет и пития лимонада. Его назавтра и выпустили. С другими двумя мы жили мирно. Целых четыре дня — с 29 апреля по 3 мая — нас держали в этой тёмной норе. Менты вели себя по-разному. Один издевался

открыто, орал в кормушку: «Убивать вас надо, политиков сраных, возжаются с вами, лимонятся. Я бы вас вывез в лес и расстрелял на х…» В другой раз он орал: «Гитлер был молодец, правда? — Ты, лысый (это ко мне). Молодец, я его всего одобряю, так и надо, под корень всю нечисть». Он особенно лютовал по утрам, сгонял с параши, злобно ругался.

Но и эти капэзешные дни прошли. К вечеру 3 мая 1973 года нас выпустили из КПЗ. Денег у нас не было (на этапе не положено), прислать должны были из лагеря. И вот, заплатанные, грязные, обременённые рюкзаками и чемоданами, мы вышли на улицу. Кончилась Мордовия лагерная, началась Сибирь ссыльная. Но об этом уже в другой раз.

* * *

Не расплескать бы лагерную кружку,
Передавая другу по несчастью,
Пока на вышке нас берут на мушку,
Собачий клык готов порвать на части.

Дымится чай или, верней, заварка,
До воли далеко, проверка скоро,
И лагерные звёзды светят ярко,
Обламываясь о зубцы забора.

1989

* * *

В умывальной враз на бетон
Тяжко рухнул и умер он —
В сырость, грязь, окурки, плевки.
Ржавой лампы ржавая дрожь
Мрачно замершие зрачки
Осветила — страх, невтерпёж:…

Как бы в них отразились вдруг
Десятилетья — за годом год
Те ж заборы, вышки вокруг,
Лай собачий ночь напролёт.

То в столовку с ложкой в руке,
То обратно шагал в барак,
И дымил махрой в уголке —
Что ни день — вот так, только так.

О свободе грезил сквозь сон
Да подсчитывал, знай, годки —
В умывальной враз на бетон
Тяжко рухнул — в сырость, в плевки.

Лгали сны — пропал ни за грош,
Кончить срок в земле суждено.
Ржавой лампы ржавая дрожь.
В неподвижных зрачках темно.

1971, Мордовия

* * *

В проходе тёмном лампочка сочится,
И койки двухэтажные торчат.
Усталого дыханья смутный чад,
Солдатские замаянные лица.
То вздох, то храп, то стон, то тишина.
Вдруг скрежет двери — входит старшина:
«Дивизион — подъём!» И в миг с размаху
Слетают в сапоги. Ремни скрипят.
Но двое-трое трёхгодичных спят,
А молодёжь старается со страху.
«Бегом!» Глухое утро. Неба дрожь.
О, время, ну когда же ты пройдёшь!
И словно мановеньем чародея,
Прошло.
Решётка, нары, и в углу
Параша. Снова лампочка сквозь мглу,
А за оконцем вышки. Боже, где я?
Заборы, лай, тулупы да штыки.
Шлифуй футляры, умирай с тоски.
Кругом разноязыкая неволя,
Я на семнадцатом, на третьем — Коля.
А ты, Россия, ты-то на каком?
А, может, ты на вышке со штыком?

Когда ж домой? Спаси, помилуй, Боже!
Вернулся. Долгожданная пора.
Но не могу сегодня от вчера
Я отличить никак. Одно и то же.

1986

Сибирь

Рабочие — разрушители старого дома — жгли во дворе костёр. Рядом стоящие высокие деревья они огородили досками, и деревья приобрели музейный вид. Дом был чёрен, гол, обшарпан, окна зияли навылет, в некоторых торчали осколки недобитого стекла. А в садике двора напротив дома хозяйничала зима, ветви деревьев были увешаны снегом и белы, а стволы темны и ещё сумрачней от соседствующей белизны. И между пропадающим, смотрящим в гроб домом и живым ещё садом в тихом белении января — горел костёр. Он широко и внезапно взвивался с земли, огненное вздымание и опадание текло среди поваленных перекарёженных досок, разбитых ящиков, щепья и мусора, текло косматое и длинное полыханье, набегая кверху, то вдруг стелясь по-змеиному по земле, слышно дыша и неубывно сверкая, то враз накренив будто живой рукой стенку ящика, то однообразно стоя в воздухе на одном месте, насылая в высоту искры, мелькающие и гинущие с глаз долой в одно мгновенье. Всё это происходило здесь, в моём городе, в начале 1977-го, а вернулся я из ссылки в конце 1974-го. Причём тут ссылка, лагерь, родной дом? Не знаю. Но вначале было слово — в это я верю. Пусть же это будет слово о костре.

О Сибири вспоминать не в печаль. Хоть и ссыльная, и чужая, а вошла в душу. Первое, что увидел вольным уже взглядом — Тубу, горящую на солнце, и ловкую моторку, стучащую по весеннему речному блеску. Река Туба. Ну, что ж. А была река — Нева.

Туба, Кызыр, Кызыл и Омыл сливаются в одну протоку, как бы трубу, по-татарски Тубу. Так мне рыбак рассказывал. Сидели на брёвнах у воды, а он мне: «У каждой рыбы свой фасон спасенья. Таймень ищет вымоину, под глыбу головой, а невод выше идёт. Щука — на пробой смекает, рвёт невод прыжком. Сиг — поверх прыгает, сигает, и ночью — хоть глаз выколи, а слышно — сиг пошёл. Налим найдёт тетиву хвостом, подлез под неё — переворачивается и ушёл. Кто их учил — а вот, знают».

Как мы с Гришей блуждали в первый день по Курагино — тяжёлая память. Заборы, избы, в сенях темно, на стук старуха в платке и душегрейке: «Нет, не надо, не сдаём, не знаю». И вслед длинный взгляд опасливо-недоверчивый, выйдет на крыльцо и глядит, как уходим. Одна изба, другая, третья, четвёртая. Попросили воды: «Идите, идите, некогда с вами, колодец в огороде, далеко ходить». Вот тебе хвалёное гостеприимство русского народа — воды пожалели. Позже слышал я в деревнях поглуше — «теперь не война и хлеба не жалко, а уж воды да соли — подавно, их и жалеть нельзя — грех». Но я тогда не в заплатанном брёл с мешком за плечами.

Но вот опять изба — хозяйка, худенькая, востроглазая, тонким голосом — «А вы ссыльные будете?» — «Ссыльные, ссыльные, как узнали?»

— «Да уж узнала. Проходите во двор, скоро муж приедет, он шофёр на автобусе». А из двери девчоночье лицо испуганное выглядывает — как у матери, востренькое. И ещё девочка промелькнула во дворе — поменьше. «Сколько же у вас дочек?» — «Шестеро — от 6 до 19-ти, все, слава Богу, с нами. Мы немцы. Мы сами на высылке с войны ещё».

Подрулил автобус, большой мужчина, переваливаясь по-медвежьи, вошёл в калитку, по-немецки заговорил с женой, она ему из бидона поливала, отфыркиваясь, мылся. Подошёл к нам. «Здравствуйте» — рука крупная, тяжёлая, наработанная. — «Якоб, а это жена моя Фрида, проходите в дом». Так мы с Гришей, под вечер уже, отчаявшись найти ночлег, набрели в русской Сибири на немецкий добрый кров. Огромную сковородку картошки подала нам Фрида, шипело и поигрывало сало среди сладко пахнущей румянисто-белой картошки — пальчики оближешь — это после тюремного-то! Гриша мне шепнул — несколько картошек не доесть надо, так у лютеран принято. Как ни жалко

было, а пришлось оставить пару кусочков. Много позже Фрида сказала как-то — «Нам, когда гость не доест — обидно очень». Ох, Гриша, Гриша, всё-то он знал, на всё накладывал печать своего превосходства.

Постелили нам в комнате Якоба — на полу разостлали шубу мохнатую, ватники, а сверху чистые простыни, подушки, одеяла — честь честью. Двум зэкам с улицы, а за стеной девчонки спят — Наташа, ей лет 19, словно из сказки братьев Гримм, темноглазая, милая, приветливая, с кокетливой молодой угловатостью стулья нам подставляла всё, когда за стол садились; Оля — высокая, блондинистая, в очках, на год моложе Наташи, умная, себе на уме, в родном доме не загостится, а за ними поменьше народец: Лида (это та, которую увидел из-за дверей выглядывающей) — трудолюбивая, мамина дочка, Катя — с женским уже приглядцем на красивое и модное, Маша — сорванец, худышка, непутёвая душа, и Аля шести лет, ласковая, добрая, тоже из сказки, большеглазая, папин мизинчик, последышек, не хотел её папа Якоб, а теперь полюбил, с колен не спускает.

Об этой семье много можно говорить, за два сибирских года видел я от них добра и тепла — на всю жизнь хватит.

Когда вышли мы с Гришей на курагинские улицы, не было у нас ни копейки. Определили нам работу на лесозаводе, столярить. А доехать до этого лесозавода на краю Курагино не на что. Предлагали нам в милиции 20 копеек в долг — мы не взяли. Так пешком и поплелись, часа полтора шли.

Лесозавод этот стоял на берегу Тубы на самом конце Курагино. Здесь Туба огибала островки, поросшие берёзками, и уносилась вдаль среди безлюдных лесных берегов.

А лесозавод, хоть стоял у воды, погибал от жажды и пил спиртное, не просыхая. Делали тут чаще всего гробы, но табуретки и столы тоже. Меня определили в ученики столяра — 12 рублей в месяц, а в учителя мне дали местного народного заседателя — ражего молодца по фамилии Шевченко. Тут же по цеху крутились ещё двое, вечно выпрашивая на опохмелку. Клонилась в углах над верстаком молодёжь, мешая размашистые кудри со стружками. Я этой новой мушкетёрской моды тогда не знал и с любопытством примерял к широким крупным русским лицам кудри до плеч — то ли Иванушка из леса вышел, то ли крепостной мужик 1812-го года с оголодавшего пленного француза парик содрал и на себя напялил.

Между тем Шевченко стал объяснять мне азы столярной науки. Очень скоро, почти сразу я понял, что и табуретки даже не сколочу, как надо. Попробовал обтесать ножку — испортил. Рубанком водить, пожалуй, мне понравилось — нравилось выгонять из дерева кудрявую лёгкую стружку, пахнущую свежестью и чистотой. Однако из стружки мебель не сошьёшь. Было ясно, что отсюда лучше уходить. Гриша — так сразу перебрался кочегаром на хлебозавод. Я не знал, куда податься.

На третий день наши милые немцы устроили нас на квартиру к своей соседке — обоих в одну комнату. Но сынок этой женщины — пожарник из милиции — воспротивился. К счастью, Фрида тут

же нашла мне комнату, и я перебрался, а Гриша подыскал себе комнату недалеко от вокзала в бараке, благо хлебозавод был рядом.

Я не знал, как мне быть с работой. С лесозавода уйти я решил бесповоротно. Единственно, что брезжило реально — работа грузчика. Но у меня спондилёз, нельзя подымать тяжести, делать резкие движения. И всё же я решил рискнуть. Клин клином, как говорят. Было два варианта — грузчик сельпо и грузчик райпо. В райпо заработки больше — там вагоны, но там тяжелей грузы. В сельпо только продукты, развозить со складов по магазинам Курагино и нескольких близлежащих деревень. Сначала я обратился в сельпо. Тогдашний директор — немолодой человек с умным худым лицом — пожалел, что не нужно ему, и посоветовал обратиться к бригадиру рапповских грузчиков Андрею Дуракову. Фамилия эта меня развеселила, но когда я увидел её обладателя, лучше было не смеяться. Коренастый, весь крепкий, ладный, как гриб-боровик, он лицом до мелочи походил на Жана Габена, да и повадкой и взглядом тоже. Услышав мои предложения, он медленно и несуетно осмотрел меня, видно, всё прикинул, оценил и отказал. И спасибо ему — мне пришлось пару раз потом работать с райповскими, и это работа лошадиная, тут надо быть крепышом, вроде самого Дуракова. Я вернулся к директору сельпо. Он подумал, посоветовался с экспедитором — женщиной на вид очень деловой, и меня приняли. Главный довод был — не пьёт, работать будет, ничего, втянется. Так я попал в грузчики.

Хозяйка избы, где я снял комнату, была белоруска. Она сразу после войны подалась в Сибирь за своим любовником, который ещё в поезде переметнулся к другой бабе. Что ж, не ворочаться же. И осела тётя Надя в селе Курагино, обзавелась избой, огородом. Мужа так и не нажила. Один сын остался в Белоруссии, другой женился и жил в Туве в Шагонаре. Тётя Надя — баба хитрая и жадная, но по-сибирски рассыпчатая на пословицу и поговорку. Это меня с ней примиряло. Притом она, хотя и по-своему, но верила в Бога и соблюдала праздники. Мат с молитвой пополам вылетал из её уст, но это было смешно, а не дурно. Вообще, чем больше я узнавал Сибирь по людям, по природе её, тем больше она мне нравилась. Чтобы не описывать всё день за днем — буду вспоминать те эпизоды, о которых хочется сказать словом. Так ведь и жизнь движется, и память живёт, а ежедневность пусть питает перо своим неубывным воссозданием самой себя.

«Было мне тогда 11 лет, пошёл по весне за бурундуками. Слышу в лощине кто-то булькает — не то лошадь, не то корова. Да вдруг увидел — брови огромные, губища, вихри высокие. С

испугу больше — выстрелил. Упал сохатый. Я сломя голову прибежал домой, губы дрожат, слова не сказать, отцу что-то бормочу. Наконец, отец понял, пошли в лес. Увидел отец, ну, говорит, Пантелей, молодец, первый твой сохатый». Старик замолчал. Соседи его что-то одобрительно и понимающе загудели.

Снова донёсся звон стаканов, шорох наливаемой водки. Дело было заполночь, я уже готовился уснуть, но заслушался разговоров из соседней комнаты. Там леспромхозные угощали старика местного, жителя Черемшанки, куда я приехал страховать. Здесь жили лесорубы да охотники. Деревни стояли на берегу Кызыра. Кругом широко темнела тайга. И вот я лежал на койке леспромхозного общежития и слушал разговоры, после которых хотелось жить здесь всегда и забыть про города и тюрьмы.

В Курагинской бане широкие скользкие скамьи приземисто теснились друг к другу. Влажный мыльный пол ловил шаги и ускользал от них. Два грузных крана фырчали и прыскали слабеньким взбрызгом время от времени. От горячего брызга шёл пар, отпугивая подходившего с тазом. Отвернёшь кран, и ярым ходом вбивается в таз вода. Едва успеешь завернуть, а таз уж колыхает светлое море в себе, и переливается оно через край. А пока несёшь к скамье на своё место, выплёскиваешь ещё и ещё. Раз я поддался-таки убегающему из-под ступней полу — с полным тазом шлёпнулся, разлил всё, хорошо хоть не побился сам. На скамьях рядом мужчины, парни мерещились в туманном рыхлом воздухе. Крупный кирпичик хозяйственного мыла елозил в руках, норовя выскользнуть. Жёсткая плоская мочалка неохотно расставалась с впитавшейся в неё мыльной чешуей. Голоса сидящих рядом гудели, погромыхивали тазы, отпрыгивали порой взлёты воды от пола или скамей, когда кто-нибудь окатывался напоследок. Что ж — баня как баня. Извечный инвалид, отстегнувший деревяшку в предбаннике. То слева, то справа спины друг другу трут, покряхтывая и покрякивая. Волосатые, пузатые, дряблые, крутоплечие, красные, белёсые, шумные и тихие. И гул стоит несмолкаемый. На стенах и потолке тяжёлые капли скапливаются, скапливаются, набухают. Чистая вода из таза — как подарок, мутная, поседевшая, клочковатая — нудит вылить её, сполоснуть таз. Ну вот, вроде счистил с себя недельную пыль да грязь. Пора в предбанник.

В предбаннике распаренная, расслабленная тишина. Из бани раздаются, когда отворяется дверь, громы тазов и шелест воды и голоса. Рядом со мной одевается маленький мужичонка, красный, со вздыбленными волосами на картофельной голове. Несколько

раз глянув на меня узкими глазками, спросил — откуда я, не видел, мол, раньше меня в Курагине. Я сказал. «О, да я тебя в два счёта устрою, у меня тут все свои. В леспромхоз или на станцию». Я как раз тогда ушёл с лесозавода, грузчиком ещё не стал. Утопающий хватается за соломинку, и мужичонка почудился мне спасителем — когда жизнь бьёт, надеешься на любой случай — авось вывезет.

Вышли из бани на Курагинские тёмные улицы. Мужичонка зазвал в магазин, купил две бутылки с каким-то красным вином. Куда пойти? Я предложил к себе: жена ещё не приехала, тётя Надя как-нибудь примет. Добрели. По дороге мужичонка расписывал, как устроит меня в леспромхоз: «Будешь сучья с брёвен обрубать. Работа не тяжёлая, только приноровиться. Или — с бензопилой лес класть — она сама режет, только, знай, держи её. Что ж — пилу не удержишь?» Я неуверенно соглашался со всеми посулами. Тётя Надя засуетилась, достала солёных огурчиков, я поставил кильку, сала, хлеба. После двух-трёх стопок мужичонка захмелел. Стал обхаживать тётю Надю — мол, выпей, бабка, ещё — чего там! Она же перешла на скамейку у печи, полулежала там. «Выпей, бабка, да спляши, я подыграю».

— «Не надо мне играть, я сама гитара. Не возьму больше капли в рот, не проси». Ещё через полчаса мужичонка совсем смяк и, сидя на сундуке, глядя на меня белёсыми жидкими глазками, заплетаясь, плёл: «Хреновая наша жизнь, чёрная. Потому что русский народ — скотина. Ты посмотри, как другие народы живут, любо-дорого. А мы — нажраться и опять нажраться. Беспросветно. Я тебе скажу, ты мне верь, скотина русский народ. Кроме водки, ничего не будет — я тебе говорю». Глядя на него, я чувствовал убедительность этих слов. «Мне бы лечь надо, поспать», — бормотал он. Я испугался — едва я пристроился — и такой постоялец, да и лечь ему негде. «Нет, нет, никак нельзя, я уж тебя провожу, как-нибудь доберёшься до станции!» (он там жил). Он топтался, чуть не падая, бессмысленно моргая, хватая руками стены и воздух. «Как же я, мне переночевать бы…» Но я знал, что тётя Надя внимательно слушает со своей скамейки, хоть и глаз не подымет и голоса не подаст. Еле-еле выволок я своего гостя за калитку, и доплелись мы до остановки автобуса. «Завтра приходи на станцию — устрою», — успел ещё прошамкать он. Разумеется, больше я его не увидел ни завтра, ни послезавтра, и только потом, будучи грузчиком уже, встретил как-то. «Что же ты пропал?» — помню, спросил я. «Да я ждал тебя, это ты пропал». Ничего и не скажешь, с таких взятки-гладки. Тёте Наде я сказал на другой день — обещал, мол, на работу устроить, вот я и привёл его. Она только покачала головой.

Работы грузчика я всё-таки побаивался. Как-никак спина больная, а тут не шутки шутить надо. Но была не была. Работали по двое. Со мной на пару некий Коля — небольшой, ладный, светлый, с быстрым говорком, только бы кудри ему есенинские, и не удивишься, если польётся вдруг из уст «Отговорила роща золотая». Но из его обветренных губ выскакивал чаще всего скороговорочный частый мат. Двое других были народ постарше. Один, Митя, мужик лет 50-ти, коренастый, плотный, хитрован, выпить не дурак, про таких в лагерях говорят: «рыбина та ещё, гнилая». У него заведовала продуктовым магазином жена, мы этот магазин обслуживали. Жена Мити, бывалая баба, звала его за глаза живодристиком, другие бабы называли Митю не иначе как Дуськин — по имени жены. Другой — татарин, забыл имя его, а кличка была Яга-ж, потому что он без конца приговаривал «и Яга ж, Яга ж». Он был жилистый, тёмный, длинный, длиннорукий, глаза жёстко и черно блестели. Такая была наша команда — сельповских грузчиков.

С утра приходили мы в управление райпо, ждали машин. Потом начиналась езда — кто куда. Выгоднее всего было возить вино и водку: 100 ящиков погрузить-разгрузить — 1 р. 60 коп. на брата. Если пустые бутылки — всё равно. Ящик с водкой весил 20 кг. А за 100 других ящиков — 1 р. 20 коп., хотя грузы были и тяжелее, и неудобнее. Всего дешевле оценивались сахар и мука — по тоннажу, а мешок сахару тянул на 50 кг. Мучной же — на все 70, а то и 80. И после мучных ездок приходил я домой весь белый, сыпкий, и жена долго выбивала мою спецодежду на заборе, но всё равно въедливая мука гнездилась в щёлках и отворотах куртки и штанов. Всего же хуже была соль, она лежала горами, грузить надо было лопатой в сапогах и брезентухе, иначе разъедало ноги и тело. Да всё равно разъедало.

Так мы и ездили по Курагино, мостились в кузове среди мешков и ящиков. Подъезжали к магазину, выкликали заведующую. Машина задом пятилась к дверям магазина, откидывали борт, и начиналась таска. Если с заднего хода магазина — дело шло быстрей, а если через входную дверь, мешали покупатели — сновали туда-сюда, совались к нам — чего хорошего-то нет ли? А хорошее редко бывало. Мы сами почти не видели.

Мои напарники норовили при каждом удобном случае выпить. Что — водку или вино — им было всё равно. Они и водку звали вином. Я от этих возлияний уклонялся. У меня пытались они брать в долг, и приходилось давать. Иной раз — не отдавали. Пару раз я принужден был попивать с ними, чтобы уж совсем не стать особняком. Так было, помню, когда возили муку, и как ни

странно, волохаться с ней под хмельком было намного веселей. Подъезжала машина к складу, бросали на борт доску и по ней взбегали с дощатого ходуном ходящего пола на кузов. Двое грузчиков стояли на кладке (т. е. клали мешки нам на спину), мы — остальные — бегали с мешками по доске, сбрасывали мешки, дымящиеся белёсым взвивом мучным, на кузов и обратно бежали пустые, подставляли готовую спину под жёстко-серого плотного широкого этакого поросёнка, прихватив его за уши и клонясь под ним, бежали на кузов снова. Нагрузив мешков 60, отъезжали и гнали к магазину. Там с кузова один подавал, прямо на спину клал мешок, а другой — чаще всего я — шустро семенил в магазин и сбрасывал мешок, с глухим шлёпом падающий на пол, а позже на другие мешки — уже почти бесшумно, только мучная пыль вздымалась и оседала сразу. В горле першило, в глаза лез мучной мутный пот, но вино работало в жилах, и всё это нелёгкое дело даже ещё и бодрило. Да и сама мужская могута этого труда веселила душу, и усталость долго не брала. Так бывало с мукой.

С вином и водкой было полегче, взял ящик за края и пошёл ставить один на другой, штабель по 5–6 рядов, выше себя вознеся и плотно ставя. Только бутылки позванивали да поигрывали. Веселей всего в работе была выгрузка арбузов. Приходило их много из Средней Азии, и мы грузили прямо из вагонов. Наедались до отвалу, это не возбранялось. Выбирали покруче, поярче, разбивали об пол и сладкую эту весёлую алость брызжущую, развалистую на большие неровные ломти, поедали, вгрызаясь, впивались по уши, только семечки скользко прыгали из губ и мокрой коричневостью поблёскивали кругом. А пёстрые звонкие кавуны навалом громоздились в углу вагона. Мы их конвейером перебрасывали по-вратарски друг другу, а в магазин приехав, по кузову катили, когда верх уже убывал. Ухитрялись себе заначивать и взвешенные с машины. Делалось это так. Сначала взвешивалась машина, а кто-нибудь из грузчиков поменьше ростом прятался в кузове под брезентом. Брезент, как барханы, лежит, его не проверяли. Так килограммов на семьдесят мы надували нашу великую сверхдержаву, и получалось арбузов 5–6 на выбор. Можно было и жену побаловать, и тётю Надю. Такая была грузчикова жизнь сибирская, и продолжалась она полгода.

За это время грузчики иногда менялись, но бессменно трудились Митя и Яга-ж. Постепенно я узнавал о них побольше. Митя попал в грузчики из шоферов. Как и Коля. Водка подвела. А Яга-ж сидел в бытовых лагерях лет 6 по хулиганке. Сиделось ему, видно, не очень муторно, потому что вспоминать любил. Выходило, что он там жил королём, и вся зона только около него

и крутилась. И всего было вдоволь. Конечно, он привирал, как любят бытовики, но часть правды была — в этих лагерях на общем режиме уголовнику чем не житьё — каждые два месяца посылка и свидание, срок — половинят, амнистия не обходит. Оттого Яга-ж и захлёбывался рассказами, как в лагерях пил да ел, да жил в своей каморке и горя не знал. Чёрные ордынские глаза поблёскивали, слова торопились, вылетая из прокуренного узкого рта. Ещё и руками помогал. А мы молча слушали — что ж было говорить? Кому тюрьма, а кому — мать родна. Обо мне и Митя, и Яга-ж, и Коля всё знали. Но умели не выказать своего отношения к моей судьбе.

Коля только однажды пьяный стал говорить мне: «Мне Алексей Фёдорович с первых дней сказал: что ты скажешь про политику — всё, мол, передавай. А я говорю ему — я не сука. Парень работает, жена к нему приехала, не пьёт. Так и сказал ему — я, Алексей Фёдорович, не сука. Не был сукой и не буду. А вот Митьку опасайся, он и в милиции работал, он себе на уме». Я Колю словом похвалил, а в душе до конца не поверил ему, потому что знал зэковскую манеру валить на другого свой грех. А психология человеческая везде одна. Впрочем, Митя и не вызывал особого доверия. А вот директор сельпо Алексей Фёдорович мне нравился — по-настоящему умный человек, презирающий бестолковщину и болтовню. И всё-таки туда же, тем же миром мазан. Вот уж воистину — круговая порука подлости. Удивляться-то нечему — а жаль. Да что говорить о службе? К тёте Наде и то приезжал на мотоцикле ведающий мной и Гришей инспектор, она мне не говорила, но однажды он случайно застал меня в избе и забегали его глазки и язык примяк, видно было, не по себе человеку. «Вот заехал поглядеть, как устроились». А тётя Надя быстренько отлучилась в погреб или на огород — как раз нужда пришла. Я стал, по-лагерному говоря, на Табунова переть — работа тяжёлая, а платят мало, с высшим образованием — грузчик. Жена ещё крепче меня на него наседала, так он только крутил головой туда-сюда и всё порывался встать со стула, словно жгло. Но боевая моя Лена, знай, наступала. «Что же это, он затем высшее образование получал, чтобы мешки таскать? Где, в каком кодексе это сказано? В лагере и то работу подбирают, а вам тут наплевать, пусть человек мучается? У меня совсем работы нет в вашем Курагине, так на 100 рублей нам, значит, и жить?» Еле выскочил из избы Табунов, только слышно было, как рванул с места мотоцикл, грохоча. А тётя Надя скоро пришла с огорода — «Вот делать им нечего, здоровые мужики, раскатываются по деревне». Что он у неё спрашивал в прошлые разы, она, конечно, нам не сказала. Только однажды, как-то после нескольких стопок,

вдруг повело её — оборотясь на икону Богородицы, перекрестилась круто и, обернувшись к нам, низко клоня над столом лицо, красное от водки: «Вот дети, как перед Богом, так перед вами — ничего я ему не говорила и не ходила к нему. А как пришёл ко мне Толька квартиру снимать, помнишь, я и думаю — отчего не сдать, и немка эта Фрида просит — я хоть её не знаю, а на улице немцев у нас много живёт и все её родня.

А после мне старухи говорят — ой, Надя, он ведь ссыльный. Он тебя ночью зарежет и уйдёт, он ведь из тюрьмы. Пошла я к Клане (соседка напротив), говорю ей, — Кланя, я ссыльного пустила, он из тюрьмы. А Кланя мне: «Молчи, Надя, молчи». Вот как было, дети». — «Но видите, тётя Надя, обошлось, не зарезал я Вас. Тюрьма тюрьме рознь, не только воров и грабителей сажают». — «Да вижу, вижу. Вы уж на меня, дети, не сердитесь. Зима без морозов не бывает». Но я знал, что и тёте Наде верить очень-то нельзя, хоть за стопкой не было её добрее и роднее. Но сама ведь говаривала она: «Глаз опризорчив, язык оговорчив». Пословицу не зря народ сотворил, она всё про народ знает на веки веков.

После ухода Коли моим напарником стал парнишка лет двадцати двух, типичный деревенский увалень, круглолицый, конопатый, косолапый, с глазами медового цвета, с льняными спутанными волосами. Звали его Ваня, и имя ему, как нельзя

более, подходило. Работать с ним было худо, он оказался бестолков и упрям, неповоротлив и не к месту говорлив. Что меня особенно удивило — его безграмотность, он несколько раз просил меня на почте за него написать адрес и т. п. «Как же ты сам не можешь, ты ведь в школе учился». — «Да мы с дедом на двоих букварь искурили», — ответил мне он, и хотя эта побаска известная, но с ним, похоже, дело так и обстояло. Был он, впрочем, и забавен иногда, а чаще противен самодовольной благоглупостью. Вообще по селу его считали маленько придурковатым и относились с насмешечкой, а порою и издёвкой.

Вопросы его ко мне всегда были неожиданны. «Ты что же, как родился в Ленинграде, так и стал в нём жить?» — помню, спросил он меня. И удивился утвердительному ответу. «Там ведь шумно, народу больно много». — «Да, нет, привык уж», — говорил я, сам в этот момент удивляясь, как можно жить в большом, шумном, людном городе. Ваня недавно женился, жена его, бабёнка постарше его, некрасивая и насупленная, несколько раз попадалась мне в Курагине. Появился у него и ребёнок очень скоро после свадьбы, которая, по словам Вани, проходила в долгом и тяжёлом пьянстве, так что жену он нашёл с трудом где-то в чулане только на вторые сутки. Но он-то об этом рассказывал с гордостью, сколько, мол, выпил и как был пьян, и как шатало его от забора к забору, а гости вповалку валялись по избе и на дворе. Любил рассказывать, как лазит, по его слову, на жену — не без этого, — говаривал он, ощеривая широкий рот, морща утиный веснущатый нос и хитро щуря глаза. — «Как же, слазишь раз — другой, не без этого». Эти подробности он сообщал вообще, безотносительно к предмету разговора. Дразнили его, что ребёнок не от него совсем, и даже в глаза говорила, помню, продавщица ему — навещает ли, мол, сынка отец? Ваня на эти задирки свой широкий рот ощеривал уже зло, глазами крысился и глухо бормотал: «Не вам забота» и что-то ещё буркливое под нос. Было в нём уже и стариковского много — байки деревенские повторял он с той же интонацией, что бабки курагинские, и головой кивал и покряхтывал убедительно, и даже в присказке о жене слышалась какая-то замшелость — вот и я, мол, держусь ещё — будто давно пора уже на покой.

Ближе к осени дали нам ещё одного грузчика в помощь — из провинившихся шоферов, — молодого парня по имени Саша. Был он красив, черноглаз, дерзкие брови соболиные сходились почти, и вся ухватка его пленяла силой и сноровкой. Сам он был не курагинский, из какой-то другой деревни. Жизнь деревенскую он любил, любил петь песни старинные и по-русски просторные, в которых, как в зыбке, будто качалась-раскачивалась Русь, любил

рассказывать, как у них в деревне народ живёт — лучше, чем здесь, умнее. «Тут вот поросят кормят, как придётся, а после одно сало — куда его — мыло, да и только. А у нас по-другому — неделю кормят его до отвалу, а вторую неделю — впроголодь. И растёт слой мяса на слое сала, так вперемежку и выходит». Вначале мы работали втроём: Ваня, Саша и я. Саша добродушно относился к несообразностям и нелепостям Вани. Когда тот особенно уж простоволосился, да ещё притом стоял на своём, Саша говорил: «У хренового хозяина корова всегда в ненастную погоду телится», на что Ваня, как обычно, что-то тихо отбуркивал под нос. Начальству сельповскому Саша нравился. Тётя Шура, из экспедиторов ставшая уже заведующей, говаривала ему: «Ты, Саша, мараковитый, на тебя надежда, проследи, чтобы всё по уму было». Мы с Сашей старались работать на пару, с Ваней, честно говоря, оставаться не хотелось.

Однажды машин не было, дали нам работу на складе — ящики сколачивать — дело грошовое и шумное — колоти побитые ящики, вгоняй гвозди в похилевшее, разъехавшееся дерево, а совсем гниль можно было выбрасывать — мы и поколачивали да громоздили ящик на ящик — тара была, в основном, под водку и вино, так что особой хитроумности не требовалось. Тут же во дворе стоял колодец, и как назло, кто-то из бухгалтеров утопил ведро, и никак было не достать. Тётя Шура обратилась к нам. Ваня, как глянул в колодец — тут же отступился — он ещё и трусоват был ко всему. Обо мне речь не шла — всё-таки 35 лет человеку, неудобно в колодец лазить. Спасовал и шофёр машины, грузившей сколоченные ящики. Саша вызвался сам, по колодезной верёвке спустился в тёмную квадратную булькающую пасть, гулко оттуда зазвякало ведро и раздался голос Саши: «Тяните помалу». Когда вытянули и Сашу и ведро, я с жалостью и удивленьем увидел крупные шрамы у Саши на животе, ближе к солнечному сплетению. Он рассказал, что в деревенской драке засадили ему ножом да ещё провернули там, так что год целый не выпускала его больница, и хирурги не ручались за жизнь. Тогда меня что-то кольнуло — ох, не доживёт парень веку, больно красив да толков, и уж смерть побывала у него на закорках, спасибо отпустила. Саша вскоре женился, жена его, кондукторша на местном автобусе, была беременна уже, когда он уволился из сельпо и устроился монтёром. Ещё через несколько месяцев я услышал, что, будучи в командировке в другом районе, он не поладил с местными парнями, не захотел с ними выпить, и они вечером подстерегли его, когда вышел из избы, и забили кольями. Вещим оказалось моё тогдашнее ощущение у колодца, жаль очень было Сашу и страшновато за

предвиденье своё, хоть и знал я, что и самому мне сны мои предрекали, а иногда и на других угадывал я тайную метку. Однажды с женой встретили мы вдову Саши, она катила коляску с младенцем — это был Сашин сын. Мы спросили — будут ли судить убийц. «Нет, не нашли их, следователь был там, спросил да уехал, так всё и осталось. Вот сын растёт, уже на Сашу похож, такой же черноглазый». Какая-то ему будет судьба? — подумал я. И ещё подумал — а вот Ванька пень-пнём, да ещё и с гнильцой — он будет, небось, жить долго и ходить ещё по земле, с которой так рано ушёл Саша.

Из Курагинского районного архива

Когда ударила первая моя сибирская зима и звонко заиграл в воздухе мороз, первым делом отозвался мой спондилёз-радикулит. Приходилось ведь ездить по-прежнему в кузове ветру навстречу, а одевать ватные штаны не стоило — не повернёшься в работе. Пришлось мне обратиться в местную больницу. Проболев дней 10, я вышел и почти на другой или третий день схватило меня опять — поднял ящик с мылом — он под 70 кг — и еле-еле добрёл до больницы — благо магазин с ней рядом оказался. Маленький хакас — местный терапевт — тут же переправил меня к хирургу, хирург к невропатологу, и я, можно сказать, ползал от одного врача к другому. И снова бюллетень. Ясно было, что грузчиком мне больше не быть, спасибо, полгода спондилёз терпел ещё этот опыт. Пришлось увольняться. Жена в Курагине работы не имела, был у неё договор с Красноярским Домом народного творчества на несколько статей о народных театрах края, эти статьи должны были выйти маленькой книжкой, но

заплатить ей обещали позже. Мои родители посылали нам ежемесячно продуктовую посылку, да и друзья не забывали, пришло несколько посылок от родителей жены. Платили мы тёте Наде 30 рублей в месяц да ещё за молоко тёте Клане 45 копеек в день, да ещё брали яйца по рубль двадцать десяток — это при зарплате 100–110 рублей. А без неё как? Положение получалось аховое.

Мои родители, узнав, что ушёл я из грузчиков, тут же выслали 60 рублей. Я пошёл в милицию — давайте мне работу подходящую. Но Табунов отказал в помощи сразу — сами ищите. «Так ведь бесполезно, не возьмут, а снова грузить или что-то подобное не могу». — «Как знаете, я вам места искать не буду». — «А в тюрьме, небось, место найдётся?» — спросил я. — «В тюрьме найдётся», — с издёвкой ответил он. Мы с женой решили писать в Москву, в ЦК — пусть помогают в трудоустройстве, соблюдают хоть собственные законы.

Продолжалось всё это месяц — ушёл я из грузчиков в конце ноября 1973 г., а в конце декабря вдруг у забора нашего остановился газик — вызывали меня к первому секретарю райкома курагинского. Мы с женой поехали вместе. Вошли в длинный светлый кабинет. За столом сидел немолодой человек с худым жёстким лицом, он предложил нам сесть. Мы уселись довольно далеко от него, на крайние стулья. Лицо секретаря внезапно и резко дёргалось. Потом я узнал, что это след войны. «Вот у меня тут лежит письмо из Москвы — трудоустроить Вас и по исполнении известить. В ближайшие дни найдём Вам работу, но Вы уж не будьте слишком разборчивы». — «Я прошу, чтобы учитывалось состояние моего здоровья». — «Вот потому и будем искать. Через несколько дней дадим Вам знать». Разговор был окончен. Мы поняли с женой, что работа будет, чувствовалась в этом человеке сила, и власть он, видимо, держал в руках крепко. Через день меня вызвали к нему снова. «Мы направляем Вас в Госстрах — агентом». — «Но я знаю об этой работе только из рекламных роликов». — «Это уже кое-что. Научат Вас, ничего сложного нет. Желаю удачи. Идите, я позвонил туда». Так началась для меня новая жизнь — жизнь страхового агента. А прошло курагинской жизни к тому времени полгода. За эти полгода я имел дело не только с местной милицией, куда ходил отмечаться ежемесячно. Наезжал сюда и местный гэбист — чернявый, смуглый, юркий человек. Он и меня, и Гришу запугивал — лагеря, мол, недалеко: только что-нибудь — и снова туда угодите. О себе сказал: «Мы — хозяева этого района». Вызывал он нас несколько раз. Когда я ходил без работы, он как раз снова появился, вызвал меня, а я сразу потребовал помощи в

трудоустройстве. «Да что же я могу помочь, и не знаю. Я вот, когда работал на Кавказе, так там люди за деньги устраивались». — «За взятки, значит», — уточнил я. «Ну да, за взятки. Нет, я не к тому говорю, чтобы Вы давали взятку, это там так делают». — «А я и не подумал о такой гадости», — ответил я. На этом разговор и кончился. Вскоре этот гэбист перевёлся из нашего района, но ещё успел повредить моей жене, которая пыталась всё-таки найти какую-нибудь работу в Курагино — хотя бы в местной газете. Из-за вмешательства гэбиста это не удалось.

И вот началась моя разъездная жизнь страхового агента. Нехитрую науку страхования я изучил быстро. Начальник Курагинского Госстраха предложил мне края самые дальние — разбросанные в тайге деревеньки — Черемшанку, Петропавловку, Гуляевку, Жаровск, Тюхтяты и геологический посёлок Тобрат. Ехать из Курагино автобусом 4 часа — 100 километров — до Черемшанки и дальше ещё до Жаровска километров 20, а до Тобрата ещё 10 примерно, лесом. Четыре часа тряс и встряхивал меня автобус, а мимо бежали леса, поля, иногда мелькала речка среди зарослей и кустов. Безлюдье, и размашистая дорога, когда только стоящие столбиком суслики вдруг обрывались ничком и сломя голову удирали прочь, да вороны грузно вздымались и, шатко маша крыльями, скрывались в лес, вдруг оживала присутствием разбредающегося стада коров, около которых прыгал, взлаивая, сторожевой пёс, а подальше маячил на лошади пастух с длинным кнутом в руке. Потом вырастали первые избушки, дворы, огороды, где согбенные бабки копошились на гряде и изредка оглядывались на пыхтящий, вперевалку удаляющийся наш автобус, потом показывался единственный магазин с зарешеченными окнами и толпящимися на крыльце мужиками, дети разбегались с дороги и любопытно глядели нам вслед, перебегала дорогу собака, до того смирно сидящая у калитки, а мы катили да катили себе, и пропадала позади деревня с её дымной снежной медленной жизнью, и снова маячили поля, перелески, и леса, леса, леса смешанные вначале, а потом хвойные, хвойные — сосна, ель, кедр да пихта — таёжные края, сибирские, настоящие.

Уже ближе к Черемшанке ехали совсем среди леса, и стоящие вдоль дороги высокие поднебесные сосны, широко раскидистые, стряхивали иногда снежную мягкую россыпь прямо перед автобусом. Но вот — въезжали в хороводье изб, чуяли дымный дух, слышали собачий звонкий перелай и останавливались у леспромхозного общежития, как и вся деревня стоящего на берегу тёмной, быстрой, дремучей реки Кызыр. На другом берегу темно громоздилась тайга, и кругом, куда ни глянь — тайга, тайга,

тайга. Оставив нехитрый свой пожиток в леспромхозном общежитье, я начинал поход — шёл из избы в избу, пока не обходил всю деревню. А она была не так-то и мала — дворов 70. Вначале стеснялся, но люди в этих местах сами просят страховать скот и дома, потому что с них всё равно взимается обязательная государственная страховка, а вкупе с добровольной в случае чего можно получить хоть какое-то возмещение. В деревни эти порой забредает медведь, да и скотина сама может пропасть, и пожары бывают. А от несчастного случая рабочие леспромхоза тоже не прочь застраховаться — техника безопасности почти не соблюдается в тайге, и подрубленная лесина падает куда Бог пошлёт — только поглядывай. И вот захожу я в первую избу, перешагнув через лежащую на крыльце мохнатую собаку, на всякий случай почмокав ей. Она, впрочем, и в ус не дует. Куры во главе с петухом, сначала суматошно врассыпную кинувшиеся от меня с беспокойным кудахтаньем, затем любопытно поглядывая мне вслед, семенят в сторону крыльца, а петух, качая багряно-чёрно-карим сверканьем хвоста и кланяясь султанским горделивым гребешком, дерзко запрыгивает на крыльцо, тревожно прокудахтав при этом, и пытается устремиться в избу, но я захлопываю перед ним дверь, а сам стучусь к хозяевам. Вхожу. Изба выглядит бедно — воистину: печь да полати, стол, табуретки, на плите горшки да чугунки, висит на верёвке всякое тряпьё — по-здешнему всё это вместе — «шабалы», то есть имущество. На стене фотографии — покойник в гробу и родня вокруг. Кошка спрыгивает с полатей, потягиваясь, мягко проходит в угол. Хозяева предлагают сесть. Начинается разговор. Вся деревня почти состоит из двух фамилий — Бояндины да Якушевы. Бояндины — коми-пермяки, Якушевы — мордва. В начале столетия с голодухи покинули они родные земли и пришли сюда, в Сибирь. «Я тут, под сосной и родилась», — говорит старуха в крайней избе у самого леса, — «Как стали здесь отец да мать, я в тот день и увидела свет Божий. С той поры тут и живу». Мордва — народ невысокий, чернявый, широколицый, крепко сбитый, будто рубленный с пня, да подкороченный при этом и сверху и снизу, как деревянные их идолы древних времён. Говорят только по-русски, родной речи почти не помнят. Пермяки посветлей волосом, пауже в кости, оттого в лице резче выдается северная раскось, а в языке ещё слышен отголосок присвистывающей тонкоголосой речи предков. Народ всё работящий, приветливый, знающий как жить на земле, и сумрачной широкой тайге — родня. И вот идёт разговор о страховке. «Да, надо скот страховать, надо. Летом вот шатун приходил, напал на корову, стал драть её, да рвёт, измясил всю

да ошалел от крови, семь коров и задрал, и телёнка с ними. Надо застраховать — пишите нас». Так и в других избах. Несколько раз только одинокие старухи отказывались: «Пенсии 20 рублей, милок, а уж за муку отдала 15 рублей, как жить — Бог его знает. И страховать-то нечего, только вот кур и держу, весь мой скот». Что я мог сказать ей? Подивиться только в который раз долготерпению народа, который и такие гроши умеет преобразить в хлеб насущный. И шёл я дальше, по другим избам. Так, за год почти, много их обошёл, видел и бедность, верёвкой подпоясанную, и разгул вприсядку, видел жизнь сибирской деревни. Видел уставленный сплошь пустыми водочными бутылками коридор общежития геологов в Тобрате, смутную бродячую их жизнь от похмелья до похмелья, от длинного рубля до узкого горлышка. Разговаривал со старообрядцами, баптистами, со стариками и старухами сибирскими, каждое слово которых — золото. Всё это жаль разматывать в мимолётных записках, об этом хочется сказать полновесно. Надеюсь, когда-нибудь я это сумею.

Весна 1977 — январь 1978

Пизанская башня

Мне нужно было попасть в деревню Петропавловку, которая находилась недалеко от Черемшанки, но пешком не дойдёшь, да ещё вечером. Зима клонилась к весне, но в Сибири и март ещё изрыт метелями, а апрель перемешивает снег и лёд, и первые чёрные лужи в распутицу такие, что не дай Господи — бывает, ни пройти, ни проехать. Но страховать-то надо, а в апреле как раз сроки подходят. Впрочем, тогда, кажется, кончался март, белело ещё по-зимнему. Я стоял у магазина, выяснял — как же мне попасть в Петропавловку, на автобус я уже не угадывал, машин не было видно, но могли быть проездом. Вдруг подкатил мотоциклист в шлеме, худолицый, с той острой раскосью, которая здесь, в Сибири, отличает коми-пермяков от мордвы, чьи лица словно бы написаны хоть и северной, но более широкой кистью. «А вот из Петропавловки человек», — сказали мне. Я обратился к нему: «Вы скоро в Петропавловку?» — «Да полчаса пробуду ещё», — ответил он. «Возьмёте меня, я из Госстраха?» — «Можно». — «Вот спасибо. Так я вас здесь подожду». Он кивнул. Я ждал больше обещанного; темнело, коровы, мыча, уже разошлись по дворам, последние куры копошились среди улицы, перебалтываясь и переступая всё ближе к своим изгородям, и вот, наконец, появился мотоциклист, он так и ходил в шлеме, не снимая его. «Сейчас поедем, — сказал он, — к своим заходил». — «Не знаете, где можно переночевать в Петропавловке? — спросил я. — Поздно будет возвращаться сюда». — «Да у меня и можно». Я поблагодарил.

Мы познакомились. Его звали Саша, а фамилия Бояндин, как у многих пермяков в этих местах. Поехали. Мотоцикл сразу взял скорость, разбежались по краям ели да сосны, дорогу с маху уносило под колёса, ветер свистел в ушах. Я слегка держался за Сашины бока, разлёт наш мне нравился. Скоро повернули с грунтовой дороги на лесную, мотоцикл пошёл подпрыгивать да бодать то вправо, то влево среди колдобин и кочек, и быстроты поубавилось. Но до деревни было уже недалеко, уже маячил впереди скотный двор, широко окружённый низкой косой изгородью. Мы благополучно объехали юзом несколько луж, дно которых льдисто мутнело, но впереди была главная — во всю дорогу. Она пристыла, и по этой горбатистой белеси Саша и решил проехать, рвануть с ходу во всю мотоциклову силу. Едва мы чуть не на дыбах ворвались в середину, послабевший верх осел, и мы вместе с мотоциклом провалились в белёсую скользкость, и ноги мои по колено хватили ледяного внезапного

холода. Саша был в сапогах и спрыгнул с седла чуть в сторону. Я с трудом вытянул ноги, со всхлипом расставшиеся с этой ванной, хорошо хоть не весь окунулся, да и сумка с документами цела осталась. Еле мы вырвали мотоцикл, отяжелевший от льдистой воды, на сухой лесной грунт, кое-как поехали дальше. Саша оправдывался: «Первый раз здесь засел, всегда проносило».

Наконец, замызганные, замёрзшие въехали в деревню. Сашина изба стояла на самом краю её, и огород сбегал вниз, к лесу. А передом изба повернулась к реке, которая бежала здесь, суживаясь и мелея и пропадая вдали. Саша закатил мотоцикл под навес, мы вошли в избу. Огромная печь, на полатях — шестки, увешанные тряпьем, широкая деревянная кровать, в углу — образ Спасителя, буфет — редкость в деревне. К нам подбежал малыш лет пяти, большеглазый, крутолобый. «Мой сынок», — сказал Саша. Худенькая, проворная старушка вынырнула словно из печи: «Где пропадал, до темноты бегаешь». — «Да мы в луже, что перед коровником, засели, обсушиться надо, — говорил Саша. — Вот человек страховать приехал, переночует у нас. Вешайте носки на печь», — посоветовал он мне. «Ой, да плита уж холодная и ужина-то нет», — приговаривала старушка. С кровати поглядывало на нас ещё одно маленькое существо. «А это кто, дочка младшая?» — спросил я. «Да, она сейчас болеет у нас, а то и песню споёт, и стихи расскажет, такая затейница», — сказала старушка. Девочка глядела тихо и жалобно. И мальчик внимательно и приветно также посматривал на меня. «Хорошие дети», — сказал я. «Мать вот в больнице, — ответил Саша, — скоро уж дома будет, соскучились они».

Мне хотелось что-то сделать для Саши. «Промокли мы, — сказал я, — может, возьмёте в магазине пол-литра, а то не простыть бы. Вот деньги — ладно?» — «Не надо ему пить, ну его», — возразила старушка. «Так видишь же, что ноги у нас мокрые, не будет нам вреда, если по стакану», — сказал Саша. «Вы не опасайтесь, — обратился я к Сашиной матери, — я вообще не пью, да и нельзя мне на службе, тут случай такой». — «Да я вижу, вы человек серьёзный, коли надо, то пусть сходит, Бог с ним». Саша уже исчез за дверью. «Красивая у вас икона, старая, видно», — обратился я к старушке. «Да, старая, старая, от матери досталась, а ей от бабки ещё, а молодые и не глядят на неё». — «Время такое», — сказал я. «Безбожное время, всё сами знают и не слушают меня, я маленькую у них нянчу, а после еду к старшему сыну в Тюхтяты, у него три года сына нянчила. Так и катаюсь всё. Меня здесь люди «легковушкой» зовут». — «Надо же, — засмеялся я. — Но вам с Сашей хорошо?» — «Больной он диабетом, в позапрошлый год с мотоцикла упал, побил себе всё. Каждый день

на уколах да в больницу в Курагино ездит за инсулином. Там и дочь моя живет с мужиком. Саше пить-то вредно». — «А я и не знал», — испугался я. «Да ничего, разобойдётся. Вы, я вижу, человек хороший».

Вернулся Саша. «Ну что, обсушились немного? — спросил он. — Давайте, садитесь к столу, чем Бог послал». — «Не повредила бы вам водка», — сказал я. Саша глянул на мать: «Наговорила уже. Да ничего не будет, я сегодня колоться не стану, водка же частично заменяет». На столе появились солёные огурцы, сало, хлеб. Я достал колбасу из сумки. Старушка нам подавала. «А вы что ж?» — спросил я. «Я ела уже, на меня не глядите».

С печи спрыгнул серый с серебринкой, длинный и развалистый кот, медленно подошёл к нам. «А, Бусик, проснулся, наконец, — приветствовал его Саша, — сутками спит. Ленивей его не видел, мыши по нём бегают». — «Но сало-то услышал», — сказал я, бросив коту кусочек колбасы. Он, урча, стал грызть её. Мы выпили ещё по разу. «Вот и согрелись», — сказал я. «Да никогда я в этой луже не застревал, может, от тяжести, что двое, и провалился», — снова начал Саша. «Конечно, вдвоём-то тяжелей. Ничего, зато будет что вспомнить». — «А с вами хорошо ездить. Легко сидите, не боитесь, — проговорил вдруг Саша. — Вот шурин мой, так его клонит и туда и сюда, перепрыгается весь, неспокойно ему». Я хотел сказать Саше, что впервые в жизни сел на мотоцикл, но почёл это лишним. Водка вскоре была выпита, старушка убрала остатки закуски, пора было спать. Саша постелил мне на сундуке под иконой, сам он спал с дочкой на кровати, бабушка с внуком улеглись на печь.

Перед сном я вышел во двор. Огромное тёмное небо стояло над деревней, яркими пригоршнями полыхали на нём звёзды. Тишина раскинулась во всю ширь. В курятнике вдруг закопошились куры, послышалось приглушённое прикудахтывание, тут же умолкшее. Стайка словно в ответ задышала, затёрлась, но тоже на миг. Избы темнели, темно пропадал лес вдали. Я вернулся в комнату.

Утром я встал рано. Саша с детьми ещё спал, но старушка уже шуршала по избе и позвякивала ухватами и горшками. Я быстро собрался и пошёл по избам страховать. Деревня оказалась совсем невелика, урожай мой был скуден. Радовал только светлый чистый день. Запомнилась по-настоящему мне лишь высокая прямая седая старуха, которая просила застраховать дом. Рядом сгорел её сосед, он с горя на изменившую ему жену напился вдрызг и валялся среди стаканов и окурков уже под столом, когда один из окурков разгорелся, и от него пошло по

всей избе. Дело было поздно, дом выгорел начисто, сам хозяин едва выбрался и отполз к чужой изгороди, благо ветра не было. Протрезвев, он убрался совсем из Петропавловки и не подавал вестей. А старухе теперь каждую ночь снилось пламя. «Да такое большое, — с испугом говорила она, — как забудусь, пламя шумит — беда! Хоть застраховать от греха». Пройдя ещё пару изб, я повернул назад. Вечером через Петропавловку шёл автобус на Курагино, у меня оставалось ещё часа три. Я вернулся к Саше. Он уже возился в столярке, малыш его бегал по двору, кругом разгуливали куры под началом петуха, из стайки слышалось хрюканье. «Вот столярничаю, — сказал Саша, — буфет видел в избе? Сам сделал». — «А где научился?» — спросил я Сашу (мы после вчерашней водки стали на «ты»). «Да нигде, меня отец научил, он столяр был, и дед столярничал ещё там, в Коми». — «Хорошо научили они тебя — буфет отличный», — сказал я. «Да я и людям делаю, пенсия-то маленькая, а жена в овощеводческой бригаде, там с трудоднями слабо. Пошли обедать». Я не отказался. На этот раз старушка сварила похлёбку на солонине, но сытную и острую. «Это я по-нашему, по-пермяцки, — ответила она мне на похвалу. — Молодые-то и забыли всё, и говорить-то не говорят, и писать не знают по-нашему. Вот письмо пришло оттуда, а они и прочесть не могут». Она вынула из божницы и показала мне письмо, мелкая колючая вязь которого сразу обвеяла меня чем-то далёким, загадочным и грустным.

Поев, мы с Сашей пересели на диван. «Вот и столярничаю, и мотоцикл лажу, ещё с коляской есть», — начал опять Саша. Ему, видно, хотелось одобрения или просто понимания. Выброшенный несчастным падением из обычной жизни деревни, он словно бы утверждал себя. «Так это же замечательно, — сказал я, — ты самородок». — «А вот смотри, видишь — что это?» — Саша достал старый журнал «Наука и жизнь» и, развернув, показал мне снимок. «Вижу, вижу, это падающая башня в Пизе». — «Да, я давно о ней думаю. Итальянцы конкурс объявили по всему миру — кто даст проект её спасения». — «Я знаю». — «И никто не догадывается, как это просто». — «Как же? — спросил я. — Неужели ты догадался?» — «Попробовал», — улыбнулся Саша. «Ну расскажи, расскажи», — просил я. «Да надо изнутри сделать подкоп, поставить сваи и залить бетоном, и будет держать до потопа». — «Действительно просто, — удивился я, — ты хоть послал свой проект куда-нибудь?» — «Послал, — вздохнул Саша. — В «Науку и жизнь». Но ответили, что Италия прекратила приём зарубежных проектов, принимает только итальянские. Вот и вся недолга». — «Жаль, очень жаль», — только и ответил я. «Да ничего, — махнул он рукой. — Бог с ним. Я вот всё хлопочу, чтоб

мумиё достать, говорят, помогает от диабета лучше всего. Обещали из Киргизии привезти. Животные-то вылечиваются им, бродят в горах и лижут его, а мумиё — это же слёзы камней, оно миллионы лет скапливается и висит где-нибудь в скалах. И не достать бывает». — «Ты знаешь, Саша, у нас с женой есть подруга в Москве, у неё друзья альпинисты. Мы спросим у неё, может, она нам пришлёт, если добудет. Она такая, что пришлёт». — «Хорошо бы», — сказал Саша. Надо было мне уезжать. Мы распрощались, я поблагодарил Сашу и его мать за гостеприимство. Они звали в гости в следующий приезд. «Надя будет, — говорил Саша, — всё путём сделаем». Я уехал.

В сентябре опять подошли сроки страховки в Петропавловке, и я решил из Черемшанки заехать туда. В этот раз со мной была жена. Её подруга откликнулась на нашу просьбу и прислала мумиё.

Среди бела дня жёлтым осенним лесом, просторным и лёгким, мы пошли пешком в Петропавловку. Сойка, сопровождая нас, перелетала с дерева на дерево, резким криком оповещая всех вокруг. Кругом шуршало, шелестело, золотясь, шаталось в воздухе и с лёту пикировало к ногам. А мы шли, вдыхали в себя осень, Сибирь, тишину. Я показал Лене глубокую колдобину, где мы провалились весной. Наконец, открылся скотный двор, а за ним и Сашина изба.

Мы отворили калитку. Дети сразу узнали меня и бросились навстречу. Девчушка была здорова и весела. За ними показался Саша. «Приехали, а я уж думал — забыл ты». — «Да нет, помню». — «Он о вас много рассказывал», — сказала Лена. Маленькая молодая женщина, почти девочка, вышла на наш разговор. «А вот и Надя». — «Вот тебе и на, а я думала — это старшая сестра малышей», — шутливо заговорила Лена. Разговор сразу пошёл лёгкий и открытый. Мы отдали Саше мумиё, что ещё больше расположило к нам и его, и Надю. «Ну что — поросёнка или гуся?» — обратился к нам Саша. «Да жалко: не стоило бы». — «Нет, нет, всё равно заколем. Ну, Надя, ты хозяйка, что скажешь?» — «Поросёнка и курёнка», — рубнув рукой воздух, авторитетно заявила Надя. «Лови цыплёнка», — приказал мне Саша. Я двинулся к гуляющим по двору курам. Они вначале только покосились на меня, перебормотнувшись, но едва я подошёл ближе, петух скандально, по-сумасшедшему прокричав, растопыря крылья и голенасто выкинув шпористые свои ходули, трепыхаясь, ударился прочь, а куры вслед — кто куда, заходясь в кудахтанье. Я выбрал одну и пустился за ней. Но она от меня полубегом-полулётом, клювом и крыльями вперёд, крича караул, бежала сломя голову то к калитке, то к избе, то в сторону

отошедших недалеко кур, которые вместе с ней, вопя, снова начали метаться направо и налево. Уже почти схватив беглянку у огорода, я не удержал её, и она снова, судорожно возопив, ринулась прочь. Саша, к тому времени приготовивший на дворе костёр и посуду и следивший за моей охотой, в которой помогал и его сынок, срезая куре углы убега, сказал мне: «Погоди, сейчас». Он вошёл в курятник, куда от греха подальше забралось несколько кур, оттуда раздался короткий вскрик, выбежали и замелькали туда-сюда куры, и вышел Саша с добычей в руках. Кура помалкивала, косясь круглым чёрным выпуклым глазом на белый свет. Подойдя к пеньку, Саша поднял одной рукой топорик с земли и без замаха коротко чикнул по куриной шее. Голова упала на землю, ткнувшись гребешком, а тушку с открытой, как трубка, шеей, из которой капала кровь, Саша оставил на пеньке. «Зови Лену, — сказал он, — Надя в магазин ушла, скоро будет». — «А бабушка где?» — спросил я. «В Тюхтятах, у тех внуков». Лена начала ощипывать куру, а Саша, взяв нож, сел на землю около бегающих поросят, похрюкивающих и роющихся вокруг. «Сколько им?» — спросил я. «Да месяца по два». — «Может, хватит цыпленка, — сказал я, — жалко как-то».

— «Вот ещё, — возразил Саша, — а на что ж их кормить?» Белый, тупорылый поросёнок, тонко хрюкая, пробегал мимо, но на полдороге Сашина рука с ножом остриём вверх, как из-под земли, очутилась под ним, и нож ударил под левую переднюю ножку и тут же вынырнул из широкой ранки. «Пусть побегает, — сказал Саша, — сам упадет». Поросёнок, слабея, тяжко дыша, стал над землёй, ножки подогнулись, он ткнулся рыльцем в землю. Видеть это было страшновато. «На то и кормим, — словно бы услышал меня Саша. — Что ж с ними ещё делать?»

Он начал разделывать поросёнка. Едва Лена опустила в кастрюлю курицу, ей уже был дан поросёнок, розовый и чистый. Саша отошёл в сторону, а я наблюдал работу Лены и подавал ей всё, что она просила, в общем, был на подхвате. Все звери двора — куры, свинья с поросятами, кот Бусик, тёлка, недавно купленная, — все подошли к Лене, совались к костру, нюхали кровь и брошенные внутренности своих собратьев, а при возможности старались утащить их. Бусик уже дрался за куриные потроха с курицей, пытавшейся у него их отнять; свинья, чавкая, пожирала что-то, отхрюкиваясь от кур и мотая рылом. Одна тёлка смотрела смирно. Подошёл Саша, поправил костёр, отогнал животных: «А ну, брысь, ишь припёрлись, не видали вас». Появилась Надя. Обед был готов, я достал водку, привезённую с собой. «Приезжайте к нам в Ленинград, — говорили мы с Леной, — там своими глазами Исаакиевский собор увидите, он не

хуже Пизанской башни. Да и не падает притом», — добавили мы. «Ох, хотелось бы, так хотелось бы, — вздохнул Саша, — да больно дорога денежная». — «Может, сделаешь пару буфетов, скопишь», — сказал я. «Да нет, не хватит. Я бы пошёл к архитекторам, показал свой проект спасения башни. Видно, всю жизнь тут прожить придётся». — «А нам здесь нравится!» — воскликнул я. «И мне», — подтвердила Лена. «Это вы здесь ненадолго, а так бы Ленинград во сне видели каждую ночь». — «Я и вижу», — призналась Лена. «Вот то-то и оно. А я Пизанскую башню часто во сне вижу, вообще Италию». Надя покачала головой: «Всегда он такой». — «Хороший», — улыбнулся я.

Обед подходил к концу. Никогда в жизни я не ел такого свежего бульона, такой нежной поросятины. Уже веяло вечером, день уходил. Дети ложились спать, разбрелись по курятникам и стайкам звери, успокаиваясь после столь жестокого и сытого для них дня. Бусик давно валялся на печи, и им можно было размахивать туда-сюда, что и делал Сашин Вовка, а кот не просыпался и даже глаз не открывал. Легли спать и мы после долгих пререканий — кому на кровати: хозяева укладывали нас, а мы их, в конце концов, они настояли на своём и сами улеглись на полу.

Утром надо было уезжать. «Пишите нам, — говорили мы с Леной, — и приезжайте в Ленинград». — «Может, когда и сможем», — кивал головой Саша. Мы уехали. Через несколько месяцев в декабре кончилась моя ссылка. Ленинград превратился в явь. От Саши и Нади писем не было, но в следующем году наша бывшая хозяйка тётя Надя, с которой мы изредка переписывались, сообщила, что Саша умер, доконал его диабет. Жена его, Надя, нам так и не написала. Единственное, что я могу сделать сейчас для Саши — рассказать о нём что запомнил. Жаль, что не помогло ему мумиё.

* * *

Сегодня утром лист пошёл —
По всей тайге, куда ни глянешь,
Слетает осени в подол
Медь, золото, багрец, багрянец.

И речка ловит на ходу
И гонит вдаль напропалую
Свою добычу золотую
У всех деревьев на виду.

И под ногами впрямь горит
Земля медлительно и пышно,
И каждый шелест говорит
Так явственно, что всюду слышно.

1974,

Курагино

* * *

По Тубе пошла шуга,
По судьбе пошла туга,
И парому не пройти,
И до дому нет пути,
Уплывает хмурый лёд,
Убывает птичий лёт,
И снега кругом, снега.
По Тубе пошла шуга…

1974,

Курагино

* * *

Перестал ходить паром,
Обивает снег пороги,
Баба тыкву на пороге
Рубит длинным топором.

Сыплет семечки на печь,
Разгораются уголья,
Пересыпанная солью
Русская играет речь.

А за окнами бело,
В белом крыши и заборы
И далёкие просторы,
Где вчера еще мело.

1973,

Курагино

* * *

Река встаёт и громоздится,
Белея медленно кругом,
И лишь у берега дымится
Вода и лезет напролом.

К ней по истоптанному спуску
Идут, сбегают второпях,
И веет стариною русской
От коромысла на плечах.

Виденье призрачной эпохи,
Что разве в сердце и жива,
И вёдра тихие, как вздохи,
Качаются едва-едва…

1973,

Курагино

Горесть неизреченная

Поэма-цикл

I

Я буду объективен в каждом слове,
Пускай былое станет за строкой
И скажет, не боясь ни слёз, ни крови,
На призраки обид махнув рукой.

Ведь есть же что припомнить год за годом,
Была же в этой дружбе Божья весть!
Летели строки — дух не перевесть,
И город вырастал под небосводом,

А деревца на улице твоей
Вздыхали, и трамваи напоследок
Звенели нам во мгле ночных огней,
И дождик был таинственен и редок.

Припомнить ли высоких слов полёт,
О нет, не разговоры — монологи,
И то, что в грозный час произойдёт —
Припомнить ли печальные итоги …

II

По улице мы шли и заглянули
В какой-то двор, не знаю, отчего,
Как бы услышав в голубином гуле
С грядущим голосом строки родство.

Там у стены приземистой и тёмной
Желтея, деревцо тянулось ввысь,
Раскидывая ветки неуёмно,
И ты мне вдруг сказал: «Остановись.

Взгляни — вот лучшее».

И в самом деле,
Узнали будто осень мы в лицо,
А листья золочёные летели,
И медленно дрожало деревцо.

«Вот наши судьбы, наши вдохновенья —
В глухом дворе, у сумрачной стены
Возносим небесам благодаренья,
Но злато строк своих терять должны.

Кто подберёт?»
И мы ушли. И снова
Нас улицы кружили и вели,
Но я твоё навек запомнил слово,
И хмурый двор, и деревцо вдали.

III

Владиславу Ходасевичу

…Судьба поэта в каждой строчке
И точность каждой запятой,
Парижской ночи мрак пустой,
Российские лихие ночки.

На пьяных улицах свистки;
Пайки, плакаты, приговоры
И тяжесть лиры.
Кратки сборы
Из ночи страха в ночь тоски.

Но взяли мы из рук твоих,
Поэт, и злость твою и вздохи,
Тяжёлый груз ночной эпохи
И наш взвалил на плечи стих.

И сеятель недаром твой

Прошёл — зерно, пробив бетоны,
Взошло свободною строкой,
Хоть и слышны порой в ней стоны.

IV

Перекликались замыслы и звуки,
Как древние дозорные костры,
Трамваи шли в тартарары,
И звёзды падали нам в руки,
Твой белый стих в ночи белел,
Пылали церкви, и поэты
шли на расстрел,
И предрекали кровь приметы,
Катились казни по Руси,
Жестокие сбывались сроки —
Как скорбно, Господи спаси,
Перекликались наши строки!
О, как их слушала Нева,
А то вдруг площади, вокзалы,
То финский пригород, то шалый
Шум электрички лез в слова.
А помнишь, в тихом сосняке
Ты белку увидал на ветке
И ей прочёл. И впрямь, к строке
Она склонила слух свой меткий.
«Природа не враждебна нам, —
Ты мне сказал, — мы с нею вместе,
Услышав светлое известье,
Она сияет в лад стихам.
Но жалкую почуяв ложь,
Враз прячется и пропадает,
То бьёт её лихая дрожь,
То в злой озноб её кидает».
И словно бы в ответ листок
Скользнул, кружась, мелькнул и замер…
Перекликанье наших строк!
Как перестук во мраке камер…

V

О, наши ненависти, наши страсти…
Как рассказать?
Вот комната твоя,
Журнальный столик, и листы, и счастье
Совместности, и чаша нам сия.
Дверь на задвижку. Охраняют стены
От милостей родителей твоих,
О, как же наши тайны сокровенны,
И как отчаян, и как звонок стих!
Он небеса пронзает, он свергает
Твердыни зла, но друга два иль три
Его узнали…
Светофор мигает,
Дрожащие мелькнули фонари,
Последний пассажир, на эскалатор
Ступаю я, резиной пахнет гул,
А в воздухе метание метафор
И ритмов всех размашистый разгул.
О, как внезапно пели телефоны,
Как лифты обрывались в глубину!
Но и не только творчества законы
Мы знали, не поэзию одну.
Любимые нас мучили жестоко,
Пустых знакомств томила кабала.
О, нищеты и тусклых служб морока!
Но надо всем поэзия была!
Она превозмогала все напасти,
Летя к звездам с улыбкой на устах…
О, наши ненависти, наши страсти!
А за спиной уже маячил страх…

VI

И грянул гром с тяжёлой силой злобной,
Внезапно, днём весенним, поутру.
Я этот день запомнил так подробно,
Что с памятью о нём, видать, умру.
О, те шаги, заглядыванья в щели,
Те голоса пустые, взгляды те,
И всё взаправду, въявь, на самом деле,
Не сон лихой, не строчка на листе!

Потом Литейный, зданье, что могилой
Назвать бы правильнее, кабинет,
Откуда не выходят, а на нет
Как будто сходят.
И со мной так было.
Лязг ружей. Конвоиры. Лязг ключей.
Бетонный пол. Железной койки вздроги.
О, стих мой милый — вздох души моей,
Мечты мои — и вот теперь итоги.
И ты — бетонный тот же меришь пол
Пустынными шагами, той же дрожью
Дрожит железо койки.
Он пришёл,
Наш общий час — о том и слово Божье
Нам предрекало притчей о зерне,
И о разбойниках, и об Иуде,
О том и строки пели, и во сне
Не зря метались взрывы, стоны, люди…
Припомнить ли ту лобную скамью,
Змею клевет, скользнувшую меж нами…
Тогда-то мы испили — письменами
Предсказанную чашу нам сию.
Ещё и встречи были, и слова,
И даже строки снова, как бывало,
Но каждый понимал, что миновало
То роковое, чем душа жива.

VII

В машине, в клетке той железной
Трясло, мотало нас двоих,
Как бы и впрямь, и въявь над бездной.
И вдруг ты прочитал свой стих.

В нём город звонко и знакомо
Маячил и сводил с ума,
Сугробов белые изломы
Лепила медленно зима,

И сквозь окошко благодарно
Тебе светили купола
За тяжкий жребий твой мытарный
И светлых строк колокола.

И ты умолк, и всё, что било,
И разобщало нас, и жгло,
Перед строкой крутою силой
Во мрак беспамятный ушло.

И только золото собора
И зимний город вдалеке
Печальным отсветом укора
Мерцали мне в твоей строке.

VIII

Последняя встреча. Нары.
Параша в углу. Скамья.
Сумрак суровой кары.
В последний раз ты и я.
Как пронесу сквозь годы
Тот взгляд и тот разговор,
Потолка злые своды.
Двери, глазок в упор.
Прощай. Между нами были
Поэзия, сны души,
Тюрьмы жестокие были,
Допросов карандаши.
Прощай. Сгорело, как хворост,
Счастье, черна беда.
Неизреченная горесть
Нам теперь навсегда.

1974

Красноярский край,
пос. Курагино

Елена Фролова
Как я заказала себе мужа

Мы шли по Невскому — моя подруга, наш приятель Эмиль и я. Было 30 апреля 1965 года. Обсуждали, как отметить Первое мая (мы тогда отмечали всё, что угодно — был бы повод собраться). К этому времени я уже была разведена. Молодая разведёнка — очень престижная позиция. И как полагается, капризничала:

— Позови кого-нибудь нового — все надоели.

Эмиль знал, казалось, весь Ленинград. Он вытащил пухлую записную книжку:

— Вот есть интеллектуал.

— Надоело.

— Вот оригинал.

— Хлопотно.

Спектакль становился всё более весёлым. Подруга уже закатывалась.

— Есть поэт.

— Поэт — это интересно.

Эмиль зашёл в телефонную будку, набрал номер Толи Бергера. Толя только что вернулся из командировки в Москву. Что делать первого мая, не знал, всё же решил попижонить, сказав, что уже приглашён. Но Эмиль знал своё дело:

— У нас очень маленький пай. И такая женщина.

Подруга стучала в окно будки.

— Почему одна?

Толя слышал смех, наши голоса.

Назавтра они ждали меня на станции Метро «Чернышевская». Я увидела высокого худого молодого человека в болоньевом плаще и соломенной шляпе.

Нет, я не засмеялась. Но сразу стало весело.

Когда мы пришли к хозяину нашей вечеринки, я увидела, что новый знакомый начинает лысеть, и, видимо страдая от этого, прячет раннюю лысину под волосами и вот — под шляпой.

Мы танцевали. Танцевал он средне. Разговаривали. Это было гораздо интереснее. Высокая образованность, воспитанность, интеллигентность и какая-то детскость. Толя пошёл меня провожать. Я тогда снимала комнату на Фонтанке близ БДТ Он жил в этих краях — на Большой Московской. Провёл меня через свой любимый переулок. Глухие стены и только высоко несколько горящих окон.

Я сказала:

— Даже каблучки испугались.

Позже, когда мы вместе смотрели репродукции картин Пауля Клее (могли ли мы предполагать, что через много-много лет в мюнхенской пинакотеке нас со всех сторон будут окружать картины этого художника!), вглядываясь в его работу «Ребенок на вокзале», мы вспомнили наш первый вечер, этот переулок, чувство затерянности (каблучки испугались) и совместность переживания.

Не помню, на какой из встреч Толя впервые прочитал мне свои стихи. Мы гуляли по Фонтанке, спускались к воде, я сразу ощутила талантливость, некоторые строки моментально врезались в память:

Летели листья врассыпную,
Трамвай мелькал и дребезжал.
Я осень солнечно-седую
В ладонях, как птенца, держал.

Но хоть разговоры и чтения становились всё интереснее, а встречи всё горячее, я говорила подруге:

— Понимаешь, он мальчик. Ну, две недели — и всё.

Проходили две недели:

— Ну вот, сходим на концерт в филармонию — и всё.

— Ну, до отпуска и надо расставаться.

А в отпуске, когда Чёрное море так ласково принимало в свои объятия, когда днём весело было вмешаться в пёструю, фланирующую по бульварам толпу, а вечером слушать многоголосое пение молодых грузинских парней, собиравшихся на пляже, и смотреть на лунную дорожку, я окончательно поняла, что скучаю по этому мальчику, что всё совсем не так просто.

Толик встречал меня в аэропорту и сразу сказал, что не может без меня, и что это навсегда. Я сказала: «Да», но оба мы понимали только одно — мы хотим быть вместе. Всё остальное неясно.

Неустроенность. Копеечные зарплаты. Толя жил в маленькой квартирке с мамой, папой, дедушкой.

Мне уже довелось войти в чужую семью. У моего первого мужа и его мамы была чудесная квартира на Невском. И хоть моя первая свекровь относилась ко мне замечательно, и всё как будто благоприятствовало нашему союзу, я ушла от мужа. И сейчас меня снова страшил другой уклад жизни.

Но не только бедность и знаменитый «квартирный вопрос». Не думаю, что здесь какая-то мистика, но внутреннее чутьё

подсказывало мне: та жизнь, к которой я стремилась, которую с трудом строила, сегодня под угрозой.

Я родилась в Ленинграде, но его не помнила. Эвакуация. Затем папу направили во Львов. Мне было 13, когда я осознанно увидела Стрелку Васильевского острова, Эрмитаж, переулки у Сенной… Позже мои львовские друзья вспоминали, что с тех самых пор я говорила: «Жить можно только в одном городе». Я окончила факультет журналистики Львовского университета, сумела сама вернуться в Ленинград, занималась на театроведческом факультете ЛГИТМИКа, печаталась, собиралась поступать в аспирантуру.

Толик с интересом относился к моему увлечению театром, даже мировую драматургию знал, наверное, лучше меня. Но тревога не оставляла. И однажды я сказала:

— Мне надо уцелеть, — и ушла.

Страдали мы оба. Первый не выдержал Толик. Позвонил. Я кинулась навстречу.

Больше уцелеть я не пыталась. И всё равно ссорились, мирились. Стихи тех лет сохранили свидетельства раздоров:

Вместе тесно — тошно врозь.
Вот расстаться и пришлось,
В той болезной тесноте
Я не я, и мы — не те.
Что ни слово — то не так,
Что ни дело — то пустяк,
Плохи служба и друзья,
И характер мой, и я,
А тебя со всех сторон
Осаждают — он, он, он,
И бегут твои года
Даром — быть со мной беда —
Ни покоя, ни семьи —
Только тяготы мои,
И в грядущем тот же путь,
И когда ж тебе вздохнуть?
Что ж — коль тесно так вдвоём —
Разойдёмся — и бегом
Прочь — куда бы чёрт ни нёс,…
Но откуда привкус слёз
Горький на сердце? И ты
Всё глядишь из темноты,
И болезной тесноты
Сладко помнятся черты.

16 января 1969 года мы поженились.
Ссоры остались позади.
А 15 апреля 1969 года пришли ОНИ…

По другую сторону проволоки

Обыск начался рано утром. Не помню, как они вошли, не могу сказать, спала я или уже встала. Очнулась от шока, когда услышала, как кто-то из гэбистов сказал мужу, что он привлекается к следствию по делу Мальчевского.

— Не знаю я никакого Мальчевского. Это ошибка.

Мальчевский? Это имя, действительно, ни о чем не говорило. Не было такого среди знакомых. Не мелькала эта фамилия и в передачах «голосов».

А обыск между тем уже шёл. Открывали, переворачивали, выбрасывали.

Мужу предложили поехать в ГБ и там объяснить, что произошло недоразумение. Может потому, что привлечение по делу незнакомого человека казалось абсурдом, или знание истории страны на поверку оказалось головным, и живая память не подсказала прошлые уроки, как бы то ни было, но мы ничего не собрали Толику в дорогу. Даже денег не дали: мелочи не нашлось, а большая по тем временам сумма — десятка — показалась ненужной.

— Да его на той же машине и привезут, — говорили гэбисты.

Как меня потом мучила эта не положенная в карман десятка, как не давала покоя собственная растерянность!

Сейчас, задним числом, иногда задаёшь себе вопрос: предполагали ли мы возможность ареста, боялись ли его? Наверное, и да, и нет. К этому времени, к 1969 году, мы уже давно понимали, что во всех бедах страны виновато не то мифическое, так неумело названное «культом личности Сталина», что дело в строе, что он не изменился и сегодня. И в стихах Толи, и в наших разговорах ощущалось настойчивое стремление разобраться, как и почему произошло это с Россией в октябре 17-го, почему происходит сейчас.

Что за такие мысли не похвалят, мы, разумеется, знали. Но Синявский и Даниэль печатали свои произведения за границей, москвичи вышли на площадь, мы же говорили дома, читал Толик узкому кругу друзей… Разве только после оккупации Чехословакии, которую Толя предвидел ещё в июне («Бессребренник — трудяга»), разве что тогда стало уже совсем невмоготу и мы говорили о танках на площадях Праги со всеми — на работе, при встрече со знакомыми. Но и тут — сколько нас слышало?

Нет, всё-таки сознательных мыслей об аресте не было. Вот почему никто ничего не прятал, не хоронил, открыто в столе

лежали тетради… Вот почему я так неумело проводила мужа в Большой Дом.

А обыск продолжался. Вытащили тетради, бумаги. Стали рыться в письмах.

Меня передёрнуло:

— Чужие люди копаются…

— Ваши письма, Елена Александровна, мы отложили.

— Спасибо.

Подошла очередь книг. Гэбисты и понятые снимали их с полки, перетряхивали. Понятые были, конечно, из стукачей. Два молодых парня. Свекровь спросила их: «Вы учитесь на юридическом?» — «Нет, в первом медицинском». Именно они, эти парни и навели на книги — показали полку, где стояли произведения философов: Ницше, Шопенгауэр, Шпенглер. Всех этих врагов марксизма забрали, потом часть вернули, но Шпенглера «Закат Европы» приобщили к делу.

Всё время обыска я думала об одном. Мне казалось, что за стихи в тетрадях судить нельзя. Но как сделать так, чтобы им не попались напечатанные, хранящиеся в папках.

Шло время. Гэбисты разбирали книги. В комнате остался один, когда подошла очередь полок с папками…

До сих пор не знаю что это было: либо, и правда, среди гэбистов есть люди, либо уж так сильно я этого хотела…

— А на этих полках что?

— Моё театроведение.

Там, действительно, были и мои материалы, но Толины папки…

Полки остались нетронутыми. Обыск заканчивался. В ту пору я работала в заводской многотиражной газете. Пока эти люди рылись, нельзя было даже позвонить, предупредить, что я не приду. Ушли. Я поехала на завод. Надо было всё сказать редактору.

К счастью, я работала с глубоко порядочными людьми. Мы спорили, расходились во взглядах на политику, на литературу, но всё это ничего не меняло, и в благородстве их я не сомневалась. Так и тогда — рассказав в редакции про обыск, я зашла к своей приятельнице-юристу. И с ней я спорила о Чехословакии, но то было вчера…

— Ирина, сегодня забрали Толика. Мне надо предупредить друзей, чтобы они убрали из дому весь самиздат, а мой телефон прослушивается.

Она дала мне ключ и вышла из комнаты.

Вечером мы пытались распихать всё по местам, сделать квартиру хоть более или менее жилой. Напряжение не спадало,

мы всё ещё верили, что Толик вернётся, всё ждали, прислушивались к каждому звуку машины. Но около двенадцати ночи вместо Толика приехал его друг Витя сказать, что только сейчас и у него окончился обыск.

* * *

На следующий день у нас с подругами было совещание. Конечно, мы пришли к нашей старшей. Тамара Владимировна Петкевич 13 лет провела в лагере и ссылке в сталинскую пору.

— Вот и следующее поколение пошло, — глаза у неё были мудрые и грустные.

Стали решать, что делать. Главное было — убрать из дому перепечатки Толиных стихов и найти адвоката.

Какая-то подборка была у моих родителей. Не помню, почему, но в этот день дома их не было. Великий конспиратор, я дала Любочке ключи и отправила её забирать стихи. Если бы ей встретились соседи, если бы поинтересовались, что тут, у дверей делает незнакомая женщина. К счастью, обошлось.

Самой трудной была проблема папок. Аля сказала, что заберёт их. Но хранить в её коммунальной квартире было опасно, поэтому пока решили поискать другой путь, и только если ничего другого не выйдет, тогда уж…

Адвоката Тамара Владимировна нашла через пару дней. Порекомендовал его Ефим Михайлович Эткинд. Это был Шафир, человек, который брался за политические дела даже в конце сороковых, когда каждое участие в процессе могло кончиться арестом, когда, провожая его, жена не знала, встретит ли снова.

Не могу сказать, чем мне помог Шафир, не помню особенно важных советов. Одна из идей его была — попытаться поменять статью с 70-й, где агитация и пропаганда с целью подрыва советской власти, на 190-1, когда подрыв власти не входит в намерения «злоумышленника». Всё это, конечно, было нереальным. Исход дела был предрешён заранее и не в суде. Да и не стоило этого, наверно, делать, хоть по 190-й срок был бы меньше, но отбывать его с уголовниками… Впрочем, что говорить о намерениях адвоката, когда все долгие месяцы следствия он не был допущен к делу. Но то, что Шафир взялся защищать Толика, было очень важным: с ним я не чувствовала себя одинокой. Помню, как он слушал мой рассказ о том, как там, в Большом Доме меня пытались натравить на мужа:

— О Павлике Морозове мы уже слышали, поехали дальше, — и такая знакомая, такая близкая мне ненависть была в его

взгляде. Но время шло, следствие тянулось. Сердце у Шафира было больным, летом его не стало.

Перед смертью он передал меня человеку, которому абсолютно доверял — Семёну Александровичу Хейфицу, прекрасному профессионалу, яркому, умелому защитнику. Но с той поры я уже была одна, тех одинаковых реакций, той общей ненависти не было.

Впрочем, я забежала далеко вперёд. Сейчас на очереди рассказ о папках, об Але, о наших детективных историях.

Дома мы решили, что свёкор отнесёт перепечатки Толиных стихов своему другу детства. Поэтому, когда Аля позвонила мне, я сказала ей, что помощь не потребуется. Но Аля настаивала. Каюсь, я даже почувствовала лёгкое раздражение — ну, сказали же, что не надо.

Какое счастье, что Аля поверила тогда не мне, а своему безошибочному чутью. Подъехав к нашему дому, она почему-то стала обходить его с улицы; не зная наших окон, вдруг увидела библейски-прекрасное лицо Толиного дедушки и мою свекровь, которая кормила его в эти минуты.

Через окно Аля стала делать знаки. Толина мама, заметив её, точно так же стала показывать, что всё в порядке, ничего не надо. Но как раз в эту минуту послышались звуки открываемой двери и появился бледный, совершенно подавленный свёкор: друг детства папок не взял. Забрав их из рук мужа, свекровь готова была передать Але в окно. Но Аля сделала знак выйти и идти следом. Так они и шли до дома с лифтом и там, в этом лифте, нажимая кнопки разных этажей, перекладывали папки из портфеля в Алину сумку. Эти папки Аля потом прятала у друзей, скрывала в своей коммунальной квартире. С ними было много хлопот, много страхов. Но сейчас, переложив стихи в Алину сумку, моя свекровь и моя подруга пошли по разным сторонам улицы, как настоящие конспираторы. Слава Богу, что и среди гэбистов не все хорошие профессионалы.

* * *

Они пришли назавтра. Опять обыск, опять поиски, открывание, выбрасывание, перетряхивание. Надо сказать, что озабоченные папками, мы сами не проверили свой дом, не разобрали писем, не подумали, что там может оказаться криминалом. В результате гэбисты взяли письма Коли, какую-то Толину и Колину полудетскую клятву, которая там, в суде, позже выглядела почти как заговор.

Но в ту пору я ничего не знала об этом. Освобождённая от мыслей о перепечатках стихов, я встретила гэбистов словами:

— С вами не соскучишься.

А когда во время обыска пришёл Витя и тоже прореагировал на них с порога: «Ба, знакомые всё лица», я сказала:

— Ну вот, Витенька, у меня, наконец, есть время и место зашить тебе подкладку на плаще.

И устроившись с иголкой под взглядом удивлённых гэбистов, читала Вите стихи Семёна Гудзенко: «Нас не надо жалеть, ведь и мы б никого не жалели, мы пред нашей Россией, как пред Господом-Богом, чисты»…

Что в жизни начался совсем другой отсчёт времени — всё ещё внутренне не верилось…

* * *

Это может показаться странным, но сначала в Большой Дом мы рвались сами. Витя просто пошёл туда назавтра после обыска выяснять, что и по какому случаю у него искали, чем, естественно, вызвал в непривычном к такому учреждении переполох. Я звонила туда каждый день, спрашивала, что с мужем, просила принять, объяснить, в чём его обвиняют. Разумеется, никто и не думал нам ничего объяснять.

На первый допрос меня вызвали 18 апреля. В этот день у нас дома и был второй обыск, так что, вернувшись после одной приятной беседы, я как раз застала дома всю эту свору.

Но по порядку. Начну с утра восемнадцатого. В Большой Дом меня провожала Тамара Владимировна. Не утешала, ничего особенного не советовала. Мне запомнилось только: «нет слова «да», есть слово «нет». Помогло. Ни одного разговора за все допросы я не подтвердила. Это, конечно, ничего не решало. Но хоть на совести не лежит.

Прощаясь со мной, Тамара Владимировна протянула мне плитку шоколада. Я удивилась, но взяла.

Как она была права! Потом я каждый раз брала с собой шоколад. Когда уже невмоготу, когда от сидения в кабинете следователя и непрерывных вопросов дуреешь — кусок шоколада и снова какая-то бодрость. Но всё это я поняла позднее. А сейчас, расставшись с Тамарой Владимировной, я вошла в проходную ГБ.

Меня провели по коридорам и оставили в какой-то комнате ждать. Шло время. Было тихо. Только изредка раздавались чьи-то шаги. Неожиданно открылась дверь. Гэбист ввёл жену Толиного приятеля. Ввёл. Посмотрел на меня. Сказал: «Нет, не сюда». И

вывел. А я осталась гадать: что бы это значило. С этой женщиной у нас были не слишком тёплые отношения — уж очень мы были разные. И вот, сидя в комнате ожидания, я пыталась разгадать, специально ли её ввели, чтобы дать понять: она здесь и может рассказать то, что бы ты хотела скрыть, или вышла обычная накладка. Так и не поняв, я в конце концов приказала себе не думать об этом, не создавать для себя добавочных проблем. В какой-то степени это удалось.

В этот раз допрашивал меня следователь по фамилии Степанов. Был он высокий, интересный, но какая-то стертость во всём — и в лице, и в том, как говорил. Как будто бы природа задумала создать нечто, а подлая работа прошлась своим всё нивелирующим катком.

Может, из-за этой стёртости я плохо помню именно этот допрос. Поразило меня, что Степанов пытался подобраться к разговорам, о которых могли знать три-четыре самых близких человека. Донос? Подслушивающее устройство?

Но и об этом я тоже запрещала себе тогда думать, не разрешала волноваться.

Только на слова Степанова: «подумайте о своей молодой жизни» откликнулась резко:

— Что это значит? Вы что, советуете мне развестись с мужем?

— Я этого не говорю.

— Ну а что Вы хотите сказать? Давайте, договаривайте.

Он смешался и как-то неумело выкручивался. Больше к подобным разговорам в этом доме не возвращались.

Второго следователя звали Василий Фёдорович. Фамилия в памяти не удержалась. Был он старше Степанова, простоват и хитроват. Но то ли к тому времени шок у меня миновал и шла какая-никакая, но всё же жизнь, то ли этот хитрый мужичок всё же был поопределённее, выразительней, как бы то ни было — второй допрос ясно видится мне и сегодня.

Длился он долго. Я уже интуитивно выбрала свою систему защиты. Разговоры не подтверждала. О стихах Толика говорила, что вызваны они протестом против культа личности Сталина. Когда Василий Фёдорович спросил, почему муж так часто пишет о 37-м годе, есть ли в этом личное, погиб ли кто из его родственников, не задумываясь, ответила:

— У него погиб Мандельштам, а у меня Мейерхольд.

Сложнее было с теми стихами, в которых протест против системы уже не нуждался для своего выражения в образе «усатого владыки». Тут я развивала мысль, что поэт не воспроизводит историю человечества, мира, страны — он проходит её вновь. И ошибки, если они бывают, — это закономерность такого пути.

Недаром же «трещина мира проходит через сердце поэта».

Когда потом я рассказывала адвокату наш разговор со следователем, он усмехнулся:

— Это что — допрос или симпозиум литературоведов?

Впрочем, и у него и у меня для шуток тогда было мало поводов.

Василий Фёдорович уже не пытался настроить меня на разрыв с Толиком, его задача была обратить мой гнев на друзей, которые не были арестованы, чтобы на них собрать подходящий материал. Надо ли говорить, что вся эта игра мне была понятна с первой минуты.

— Вот этот сказал про Вашего мужа то-то, а Ваш муж про него — ну, хотите — я прочитаю.

— Не надо, Василий Фёдорович, Бог с ними, с этими мужчинами, мы, женщины, не так быстро меняем свои пристрастия.

Второй метод был запугивание. На столе на виду всё время стоял магнитофон. Надо сказать, он действовал на меня: я боялась, что там записаны наши разговоры. Но, даже опасаясь этого, я твёрдо решила говорить: «Монтаж, склейка» и по-прежнему не подтверждать ничего.

Магнитофон так и не был пущен в ход. Но зато по какому-то звонку сотрудник принёс солидную папку. Обращаясь к пришедшему, но явно стараясь произвести на меня впечатление объёмом собранного материала, следователь сказал:

— Вот эта та самая Елена Александровна.

Я притворно вздохнула:

— Сколько взрослых серьёзных людей занимаются моей скромной персоной.

Когда же я упорно обосновывала право поэта на собственную точку зрения и делала это при разговоре о самых злых и острых стихах, Василий Фёдорович решил разыграть приступ благородного негодования. Вскочив со стула, он закричал:

— Что Вы говорите, голубушка! Я не могу слушать такие речи о таких стихах!

Чтобы не поддаться на провокацию, я спросила первое, что пришло в голову:

— А почему голубушка?

— Нет, но это возмутительно. Я коммунист. А Вы оправдываете такую антисоветчину!

— Нет, но почему всё же голубушка?

— Извините, Елена Александровна.

Василий Фёдорович сел и, поняв, что не удалось, спокойно продолжал допрос.

Он даже в столовую ГБ повёл меня, хотя, очевидно, это не положено — уж больно удивлённо рассматривали меня все присутствующие. Да, видно, оплошал Василий Фёдорович.

Проводя по коридору, он показал мне доску, на которой были выбиты имена погибших гэбистов:

— Посмотрите. Среди них многие погибли в тридцать седьмом.

— Что ж, участь их тоже достойна сожаления, — сказала я, не повернув головы, и заметила такой ненавидящий взгляд этого, казалось бы, добродушного мужичка.

Самое худшее было то, что шли часы допроса, а Василий Фёдорович всё не вел протокол. Что-то записывал на клочках бумажки, помечал в каких-то углах. Я попыталась поспорить:

— Василий Фёдорович, вы напрасно это делаете, я журналист, я не подпишу протокол, если он будет написан не моими словами.

— Не волнуйтесь, Елена Александровна, это черновик, мы с Вами всё согласуем.

К концу восьмого часа он, наконец, начал писать. И у меня было время подумать о том, что может случиться со мной. Лагеря я тогда совсем не боялась — наверное, по неведению или потому, что мне казалось — там я ближе к Толе. Пытки? Страшно. Не знаю, смогла ли бы выдержать? Но поскольку этого никто о себе не знает — решила на эту тему не думать. А вот что представлялось мне тогда ужасным — дурдом. Постоянное присутствие больных людей, издевательство санитаров, «лечение»… Наверное, сломалась бы, не выдержала. Так что надо сделать всё, чтобы этого не допустить. Какой угодно лагерь, только не дурдом.

Позже, читая книгу генерала Григоренко, я ещё раз поразилась собственной наивности — как будто от тебя здесь хоть что-то зависит. И потому с особым уважением всегда отношусь к тем, кто достойно смог выдержать пытку сумасшедшим домом.

Но пока я размышляла подобным образом, Василий Фёдорович всё-таки дописал протокол и дал мне его для знакомства. Расчёт был прост: после восьми часов допроса человек дуреет.

Читаю протокол. То, что написан он не моими словами — это естественно, но уже на это не реагируешь. Но стоп… Два места в протоколе изложены совершенно противно тому, что я говорила.

— Вот видите, Василий Фёдорович, я же Вас предупреждала. Надо было писать, когда я говорила.

— Не волнуйтесь, Елена Александровна, мы в конце напишем

поправки.

— Ну, нет. Вы же не будете читать мужу весь протокол. Прочтёте это место, он решит, что я сошла с ума. А мне совсем не хочется, чтобы он так обо мне думал.

— За кого Вы нас принимаете?

— Василий Фёдорович, эти два места должны быть вычеркнуты. Иначе я не подпишу протокол.

— Ах так! Сейчас я вызову прокурора и всё…

— Хоть весь Большой Дом. Мы просидим с Вами сутки, двое, неделю, но этот протокол я не подпишу.

И видя, что он всё распаляет себя и в то же время не знает, что предпринять, я сказала примиряюще:

— Василий Фёдорович, что мы с Вами играем в детские игры. Вы же прекрасно знаете, что я протокол не подпишу.

— Детские игры? Но тогда что же мы сделаем?

— Вычеркнем и в конце напишем: вычеркнуто, потому что я этого не говорила.

С тем я и ушла из Большого Дома. Окончился мой второй допрос.

Следователь, который вёл дело Толика, Алексей Иванович Лесников был среди них всех самым умным и хитрым. Он уже не допускал проколов, не ставил себя в глупое положение.

Во время прошлого допроса Алексей Иванович как бы невзначай зашёл в кабинет, и сейчас напомнил.

— Когда Вы сражались с Василием Фёдоровичем…

— Сражалась?

— Ну, беседовали, беседовали…

Он сразу стал писать протокол под мою диктовку и не давал мне возможности заниматься подробной трактовкой стихов. Читала, значит, читала, значит, было распространение. Эх, если бы не наша юридическая безграмотность! Как было бы просто отвечать: «Не читала», но я продолжала свой «симпозиум литературоведов».

Из новых идей я попыталась с Алексеем Ивановичем провести такую: я утверждала, и надо сказать, это было абсолютной правдой, что той подборки, которую мне предъявляло ГБ, никогда не существовало. Толик никогда не читал стихи, упирая на их политическое звучание. Каждый раз, приходя к нему, друзья слушали то, что было написано недавно. А здесь — я не очень ещё владела их демагогией и всё же пыталась объяснить Алексею Ивановичу, что этот «криминал» следователи составили сами из тенденциозных соображений.

Теперь я понимаю, что и эти доводы абсолютно ничего не

значили для следователя. Дело уже создавалось, видимости того, что они пресекли преступную деятельность, для суда было достаточно. Всё остальное — уже детали. Но расколоть он меня всё же пытался.

Завёл разговор о единственных печатных подборках, которые им удалось найти. Печатала стихи Толика моя тогдашняя приятельница Матильда на пишущей машинке моего однокурсника Аркадия Соколова. Матильду один раз вызвали на допрос в ГБ, и с той поры она исчезла — не позвонила, не пришла. Что поразительно — я даже случайно её больше ни разу не встретила, как будто страх, испытанный ею в ГБ, сделал её в дальнейшем невидимой. Но Алексей Иванович напомнил мне о Матильде:

— С какой целью готовилась подборка?

— Для журнала.

— Ну что Вы, Елена Александровна. Вы так и скажите своей подруге: «Матильдинька, это всё я предназначала для печати».

Матильдинька! Я, действительно, её так называла. Слушали разговоры? Она сказала? Но не думать об этом, не думать…

— А если мы вызовем Аркадия Соколова?

Я всё время знала, что могу позволить себе только один взрыв. Даже если он будет искусственным, всё равно ненависть прорвётся и будет труднее контролировать себя после. Но в эту минуту такую вспышку я себе разрешила:

— Ну, конечно, вызывайте. Если человек разрешил своей однокурснице воспользоваться своей машинкой — вызывайте. Как же можно допустить, чтобы между людьми были хорошие отношения, сохранялось доверие?!

— Не волнуйтесь, Елена Александровна, мы Соколова не вызовем.

Теперь, когда прошло столько лет, я думаю, почему я тогда так сражалась. Соколов впоследствии проявил себя как стукач. Но ведь не могла же я чувствовать это, не могла…

Успокоив меня таким образом, Алексей Иванович, безусловно, проявил себя как психолог. Он вообще понимал людей, неплохо использовал эти знания в своей костоломной работе.

Шёл допрос, шло время. Вдруг в трубе что-то загремело, как будто посыпались камни. И мне так захотелось, чтобы Большой Дом рухнул, пусть бы даже нас засыпало вместе с ним.

Лесников поднял голову от протокола:

— Старый дом. Разрушается.

— Да, малосимпатичное здание.

— А мне тут нравится.

— Дело вкуса.

Перешли на разговоры. Я не подтверждала их ни на одном допросе.

— Елена Александровна, расскажите мне о разговоре между Вами, Вашим мужем и Андреем Бабушкиным о новой революции в России.

— Никогда ни от своего мужа, ни от Андрея Бабушкина я не слышала ничего подобного.

— Эх, Елена Александровна, как Вы неосторожны! Ну, подумайте ещё, ну, скажите хотя бы, что не помните.

— Алексей Иванович, запишите, пожалуйста: никогда ни от своего мужа, ни от Андрея Бабушкина я не слышала разговоров о новой революции.

— Рисковый вы человек, Елена Александровна! Ну, как же Вам отказать в такой просьбе — запишу.

Мой допрос проходил в день Толиного рождения — 5 сентября. Я попросила Лесникова в честь такой даты передать мужу плитку шоколаду. Он отказался.

— Знаете что — напишите ему записку. Я передам.

Дал мне бумагу и вышел. Не помню, что писала, не помню, как вышла из Большого Дома. Но эту мою записку Толик получил. И позже, в одном из первых после долгого молчания стихов сказал о ней: «Твоё письмо — моё Евангелие и в будущем и в настоящем…» Настоящего тогда у нас не было, будущее было неизвестным и пугающим.

…А потом был суд. Но о нём и сегодня вспоминать невозможно. Как рассказать о том, как в городском суде на Фонтанке ввиду особой важности дела были перекрыты три этажа и мы через стеклянную дверь увидели, как их вели, как шёл Толя с руками за спиной. Как впустили в маленький зал заседаний, где разрешали присутствовать только ближайшим родственникам да ещё «представителям» (от Союза писателей был переводчик Корнеев), как читали обвинительное заключение, а Толька, впервые увидев всех нас, не слушал этих страшных слов и сиял, как начищенный самовар. Как передать эти часы сидения, когда меня до дачи показаний в зал не пускали, и мы с моей подругой Мариной притыкались где-то в коридоре, чтобы увидеть через стекло, как ведут Толика, чтобы дождаться свекрови, которая одна могла пока присутствовать на суде. Как, наконец, и я оказалась там и слушала показания обвиняемых, свидетелей и шла потом после заседаний к Але в институт, и рассказывала всё по порядку. И Аля плакала, а я старалась не терять здравого смысла, пыталась что-то анализировать, сопоставлять. Как

постепенно, не сразу становился понятен страшный умысел ГБ, этот абсурд нашей жизни — когда по одному делу шла грязная уголовка (грабёж квартиры вдовы гинеколога), затем сфабрикованное КГБ благодаря неразборчивости в знакомствах друга и подельника Толи совместное его с двумя уголовниками «политически-националистическое дело» (вот где возник Мальчевский, чьё имя фигурировало в протоколе обыска) и, наконец, политически-поэтическое дело Толи. И адвокат Семён Александрович Хейфиц, подготавливая меня к худшему, объяснял, что эти уголовники, на счету у которых немало краж, для судей — заблудшие мальчики, а два поэта — вот это прямые враги советской власти. Как прокурор запросил для Толи пять лет, и мама одного из уголовников, которая всё время уверяла нас, что Толика отпустят прямо с суда, забыв о своей беде, пошла утешать нас и провожать до метро, а дома, как только мы вошли, раздался телефонный звонок и бодрый голос далёкой приятельницы: «Скажи сразу, сколько Толе, потому что я иду в ванну», и я произношу этот немыслимый непроизносимый срок: «Пять лет и иди в свою ванну». И затем приговор: четыре года лагеря строгого режима, два года ссылки. И… Ну какое может быть ещё «и»?

Но прежде, чем поставить окончательно точку, я должна рассказать ещё об одном судилище — на этот раз надо мной.

Редактором многотиражной газеты судостроительного завода имени Жданова, где я работала, был Олег Дмитриевич Байков, чья безвременная смерть ещё и сейчас болью отзывается в моей душе. Только позднее я узнала, что Олега вызывали в ГБ, что он говорил обо мне только хорошее. Но, к сожалению, не всё зависело от него. Над редактором был партком, и этот партком уже давал мне понять, что надо бы уйти с работы по собственному желанию. Но идти мне было абсолютно некуда, так что такого желания не возникало. Позднее, когда меня готовы были взять в аспирантуру театрального института, партком дал мне характеристику следующего содержания: «Е.А.Фролова работает в газете. Муж у неё осуждён по 70 статье УК РСФСР».

Но я забегаю вперёд. Сейчас рассказ о том, как вскоре после суда меня вызвали в шикарный, обитый деревом кабинет первого секретаря парткома. На этот раз, кроме трёх секретарей, там было ещё два гэбиста. Обвинения были давно известными: идеологический работник, не дала оценки, не пресекла, не донесла.

Гэбисты принесли Толины стихи, читали их секретарям парткома, вместе возмущались.

Мне терять было нечего, поэтому вместо защиты я избрала тактику нападения.

— За распространение этих стихов судили по статье 70-й уголовного кодекса, так что если они с вашей лёгкой руки пойдут по городу, не ищите, кто их пустил.

Гэбисты злились, наскакивали. Я опять повторяла свои любимые доводы — про реакцию на культ личности, про путь поэта. Говорила, что эту подборку собрал не Толик, а ГБ, что жила с мужем одной жизнью и знала все его переживания за страну.

Один из гэбистов обвинил меня в соучастии.

— Суд не вынес по поводу меня частного определения, поэтому за подобные слова можно ответить по суду.

И вдруг раздались слова самого молодого секретаря парткома Анатолия Никитина, с которым в бытность его секретарём комитета комсомола у меня были почти приятельские отношения:

— Лена, Вас, конечно, никто не обвиняет в участии, но если Вы видите, что кого-то убивают, и проходите мимо…

Ни один гэбист не вызвал у меня ни разу такой гадливости.

— Это такой бессмысленный пример, что я не считаю нужным на него отвечать.

— Но вы идеологический работник, вы не можете работать в редакции, — это опять кто-то из гэбистов.

— Уходить мне некуда, поэтому уйду я отсюда, только если вы предоставите мне квартиру за казённый счет в Большом Доме.

— Ну что ж, это мы можем.

Судилище длилось около двух часов. Всё это время мой редактор сидел на месте и ждал, что его позовут, что он сможет сказать в мою защиту хоть пару слов. Но гэбистам это не было нужно.

После конца я зашла в редакцию.

— Олег, очевидно, всё.

Редактор опустил голову и снял очки.

— Ну уж нет — их я как-то выдержала, а вот вас… Быстренько приходите в себя.

А потом мы пошли в столовую с моей коллегой Ниной, я рассказывала, а она плакала и всё повторяла:

— Ну вот, тебе ещё меня надо утешать.

Судилище проходило в тот день, когда и без меня в редакции было горе. Утонул наш фотокорреспондент, молодой, удивительно славный парень. Были похороны. Мы шли по кладбищу. Сердце у меня болело, я отстала от процессии, принимая валидол, и вдруг взглянула на могилу, у которой

стояла.

— Господи, да будет воля Твоя.

Я не могу сказать, что верую. Не атеистка, но и веры настоящей нет. Но эти слова что-то повернули в душе:

Господи, да будет воля Твоя!

Потом в автобусе, когда я ехала с кладбища, мне на руку села божья коровка, и я почувствовала хоть робкую, но надежду.

На этот раз, действительно, обошлось. Меня не уволили, и я доработала до того дня, когда пришла пора ехать к мужу в ссылку.

Но это уже не было жизнью по другую сторону колючей проволоки, и проблемы, которые не стали более лёгкими, всё же были более человеческими. Потому что там, в Сибири, мы с мужем были вместе.

Лагерные свидания

Не могла заснуть почти до утра. На этот раз не вспоминала суд, не задавала бессмысленных, не имеющих ответов вопросов: «почему» и «кто донёс». Подробно, обстоятельно в квартирной ночной тишине обдумывала я свою поездку к мужу.

Мы ещё не знали, доехал ли Толик до места, и где он, этот лагерь. Можно ли будет сразу ехать или придется ещё ждать: на строгом режиме одно личное и два общих свидания в год. Но когда? Говорят, только через полсрока. Но считать ли с момента ареста или с суда? Тем не менее, сборы были конкретными: «Надо купить сумку-холодильник. Иначе продукты не довезти».

Заснула. И, кажется, почти сразу раздался междугородний телефонный звонок. Звонила мама Толиного солагерника. Она только что вернулась со свидания и передает нам Толины слова: «Можно ехать».

Когда прошло первое потрясение, и мы с родителями мужа вспомнили и обсудили каждое слово этой скудной информации, «Надо купить сумку-холодильник», — сказала я.

Хлопоты были долгими. Хотелось взять как можно больше полезного, вкусного, нужного. В сумке-холодильнике ехала кура, колбасы. Рюкзак был набит битком. В другое время и не поднять. Но отказываться от чего-то было невозможно. Личное свидание три дня, и мы уже знали, что там можно кормить. А как человек изголодался в лагере по домашнему — легко себе было представить.

Забегая вперёд, скажу, что там, на свидании, сделала мужу яичницу из десяти яиц и он, совсем не обжора, с трудом, правда, но всё же съел её, за что меня потом долго ругали мои мудрые подруги: «Ты же могла ему испортить печень». Но что я тогда понимала про печень? Там, в лагере?

Итак, неподъёмный рюкзак был собран. Предстояла поездка в Мордовию с тремя пересадками. Первая была лёгкой: в Москве меня встретили друзья, накормили, обласкали и в поезд посадили. Страшное было впереди.

Следующая пересадка — Потьма. Поезд стоит недолго. Спрыгиваешь со своим рюкзаком и идёшь до узкоколейки — через железнодорожный мост, по тропинке, по шпалам. На узкоколейке — поезд. С трудом забралась на высокую подножку. Поехали.

Станция Явас. Отсюда близко. До Озерного всего 20 с небольшим километров. Но автобус сломан. Мне, кажется, вообще ни разу не удалось увидеть его работающим.

Жарко, пыльно. Долго с такими же горемыками ищем

машину. Наконец, грузовик. Залезаем в кузов. Дорога — как будто специально, чтобы кара стала ещё более нетерпимой. Двадцать километров машина преодолевает за полтора часа. Ухабы, рытвины, бросает из стороны в сторону. Отчаявшись в своём стремлении уцепиться и удержаться на месте, летаю со своим рюкзаком от борта до борта. Мужчина, сильный, просидевший у борта всю дорогу, потом долго вытаскивает отовсюду длинные занозы.

Наконец, приехали. Озёрное. Озерлаг. Какая грустная насмешка!

Иду к зоне. Формальностей не помню. Что заполняла, что говорила — не знаю. Сквозь колючую проволоку увидела несколько зэков, улыбнулась им, как солагерникам мужа.

Всё оформлено. Прямо из проходной — вход в дом свиданий. Две комнаты, кухня. Механически пытаюсь привести в порядок себя и комнату, где предстоит прожить эти три дня. Жду…

И вот на пороге — почему-то показавшийся особенно высоким в этой комнате, в лагерном, счастливый…

Общее свидание и по сей день вспомнить страшно. Всё те же пересадки, та же мучительная обратная дорога. В Потьме почти на ходу вскакиваешь в переполненный вагон, а дальше уже то ли стоишь, то ли висишь — и так неизвестно сколько станций. После второго личного, на которое ездила с Толиными родителями, стояли в вагоне в проходе, у свекрови из носа пошла кровь, только тогда удалось устроить её на кончик скамейки. А затем, ступая по ногам, перешагивая через чужие вещи, я добиралась до туалета, смачивала платок и обратно — по ногам, через вещи — приложить мокрый платок к носу.

На общем было всё то же — пересадки, штурм вагона, вытряхивающая душу поездка Явас — Озёрное, Озёрное — Явас. И почти тот же — разве чуть полегче рюкзак. Опять надежда, что удастся покормить, а главное — передать тёплые вещи и посылку. При строгом режиме разрешаются лишь две бандероли в год по килограмму каждая и одна посылка в пять килограмм. Так чтобы не уходили драгоценные граммы на ящик, чтобы все продукты были целые и свежие, естественно, везёшь. А общее свидание — всего четыре часа и, самое невыносимое — в присутствии надзирателя.

На этот раз надзирательницей была толстая баба с неподвижным лицом. Думаю, репрессивно-карательная система вывела уже особую породу людей. Ничего человеческого не проступает на этом лице при виде чужого горя. Сесть рядом — нельзя, говорить о чём-то важном невозможно, покормить — не

положено. Ну, хотя бы плитку, одну плитку шоколада… Запрещено.

Не знаю почему, тут я не выдержала. Не плакала в другие, более страшные минуты, а тут слёзы.

— Послушайте, Вы же женщина, Вы видите: жена плачет. Ну, съем я эту плитку — ничего же не произойдёт, а ей будет легче, — попытался воззвать к этому каменному изваянию муж.

— Не положено.

После свидания пошла передавать посылку. И тут тоже какая-то запрещающая инструкция. Но теперь я уже не плакала. Распахнув дверь в кабинет опера, с нескрываемой ненавистью я сказала всё, что хотела — и об издевательствах, и о бесчеловечности, и о нарушении всех принципов морали.

Опер тогда был непохожий на своих коллег. Он слушал меня молча, опустив голову, не возражал, не прибегал к привычной для таких должностей демагогии и, когда я кончила, пообещал разобраться.

— А посылку принесите мне, я передам.

Кинулась в дом приезжающих, схватила приготовленные продукты, конечно, не удержалась — прибавила с полкилограммчика. Принесла.

— Будете перевешивать?

— Ну что Вы? Поставьте там.

Уехала довольная хотя бы тем, что удалось передать чуть больше. И всё же тогда мы с мужем решили, что на общие я больше ездить не буду. Три дня дорожных мучений, четыре часа лагерных. Не надо — подождём личного, благо уже недолго осталось.

Поэтому телеграмма из Саранской тюрьмы оказалась полной неожиданностью:

«Если успеешь до пятницы, приезжай на общее свидание».

До пятницы оставалось пару дней. Сборы, билеты. Выехала в Москву и в четверг вечером должна была улететь в Саранск.

Домодедово. Сидим в самолёте, ждём. Полчаса, сорок минут… Объявляют: «Самолёт неисправен. Не полетит».

— Когда же отправка?

— Неизвестно.

А завтра пятница, последний день…

Я уже давно была членом Союза журналистов и, конечно, знала, как действует этот билет Союза на многих. Но до сих пор никогда его не использовала. А тут, выхватив из сумочки свою красную книжечку, во главе пассажиров нашего рейса я бросилась искать начальника аэропорта.

Нашла его дома. Добилась того, что мне дали его домашний

телефон. Говорила, видимо, как власть имеющая, иного ведь разговора в таких местах не понимают. Как бы то ни было, но через три часа самолёт был готов к полёту, и утром мы приземлились в Саранске.

Тюрьма. Потом от мужа я узнала, что в политических лагерях вообще такая практика: забирать зэков в саранскую тюрьму «для промывки мозгов», для вербовки. Впрочем, о том, как здесь оказался Толик, и почему было разрешено свидание, я догадалась сразу.

Прежде, чем пустить в камеру, меня принял начальник тюрьмы подполковник Косолапов. Его часовой монолог мне удастся передать лишь выборочно, но зато близко к тексту:

— Я говорю Вашему мужу: почему Вы не хотите нам помочь? Ну, вот видите Вы, как какая-нибудь гидра сбивает с толку молодых парней. Придите, скажите. Ведь от этого всем только лучше будет.

— Вот приходят сюда два брата Залмансоны, — рассказывая о героях так называемого «самолётного дела», евреях, пытавшихся похитить самолёт, чтобы уехать в Израиль, невысокий Косолапов показал на притолоку двери и расставил руки, изображая ширину плеч братьев: — Приходят и говорят: нам с вами разговаривать не о чем, мы ждём-не дождёмся, когда уедем на свою историческую родину. А я им в ответ: «У вас ещё двенадцать лет впереди, идите и подумайте, где ваша родина». Но Ваш ведь муж не собирается уезжать. Он вернётся, будет устраиваться работать, нас могут спросить о нём… Я прямо сказал Вашему мужу: «Вы не любите Вашу семью, Вы не хотите скорее с ними увидеться…»

Весь монолог я молчала. Надо сказать, мне даже вчуже любопытно было послушать все эти доводы, а главное, важно было не испортить, не сорвать свидания с мужем. Но на словах о нелюбви к семье внутри у меня сами собой зазвучали слова некрасовских «Русских женщин»: «Нет, я не жалкая раба, я женщина, жена. Пускай горька моя судьба, я буду ей верна. Вот если б он меня забыл для женщины другой, в моей душе достало б сил не быть его рабой».

Удивительное всё-таки явление — русская классическая литература. Как она помогала! Казалось, всё, что нужно душе, можно найти в ней. И там, в Большом Доме, когда я говорила следователю, что горечь и страдания за страну в стихах мужа порождены любовью к ней. И в ответ услышав презрительное: «Странная у него любовь», тотчас же откликнулась знакомой строчкой: «Люблю отчизну я, но странною любовью. Не победит её рассудок мой». И тут под аккомпанемент нескончаемых разглагольствований Косолапова зазвучали эти спасительные

слова, и можно было передохнуть, расправить плечи.

Тем временем словоговорение, наконец, иссякло. Меня проводили в специально отведённую для встреч комнату.

Свидание было хорошим и даже спокойным. Молодой солдатик не мешал нам говорить, сидеть рядом, я смогла даже покормить Толю. Когда четыре часа истекли, меня снова проводили к Косолапову.

— Ну что, поговорили с мужем?

— Нет.

— А хотите, я завтра снова дам Вам свиданье?

— Не надо. Я уже с детского сада знаю: ябедничать неприлично.

Валька

Может, потому, что мы так нелепо и обидно потерялись, мне хочется назвать её по имени, окликнуть, как тогда, когда на пыльной широкой курагинской улице появлялась её ладная, может, чуть полноватая по городским меркам фигура. Валька…

Сначала мы познакомились с Олегом. Он был невысок, изящен, с выразительным лицом и со знакомыми, как бы почти ленинградскими манерами. Его чуть заметная гордость тем, как он, спецкор краевой газеты, общается с политссыльными, не раздражала, его полузабытый журналистский сленг: «старуха», «лажа» — забавлял. С ним было хорошо говорить о литературе. Оставались в памяти забавные высказывания: «Брюсов много доброго сделал для мужиков» — имелись в виду поэты того времени, но также и точные, умные замечания, суждения о поэзии.

Валю во время этих разговоров я не помню. Скорее всего, она просто молчала и слушала. Но не было напряжённости, не было тягостности в её молчании.

Потом, гораздо позже она скажет: «Ваши взгляды я не понимаю. Но я сразу почувствовала, что вы хорошие люди, а раз так, то и то, за что вы здесь, не может быть плохим».

А пока нам было просто хорошо в её доме. Легко, естественно, уютно.

У Вали была — не от Олега — дочка Катя, такая же светлая, с хорошим русским лицом, как мать. Хотя Валя, наверное, красивее, как-то значительнее. И в то время, пока длилась наша ссылка, у Вали с Олегом родился сын.

А потом начались испытания. Олег уехал. Он так стремился сделать литературную карьеру, так тяготился своим курагинским житьём, а Валя, дети — всё это создавало почти неразрешимые проблемы. И он оставил их, уехал в большой город, начал работать в отделении Союза писателей.

Валя не жаловалась. Красивая молодая женщина, она без жертвенности и позы все деньги тратила на детей. Не баловала, Катька сразу стала нянчить брата. Но покупала также платьица, банты. И дорогие фрукты, и всё вкусное.

В Курагино у нас работал один Толик, и то не всё время. Когда сорвал спину, пришлось оставить работу грузчика, другой же работы ссыльному было не получить. Меня же и вообще никуда не брали. Денег, естественно, было совсем мало, но родители регулярно присылали посылки. И вот как приходила очередная, мы сразу звали Валю поесть вкусный домашний обед.

Да и она появлялась нередко со словами: «Слушай, я достала мясо. Придёшь? Приготовишь?»

Так и не знаю, не умела она готовить или не любила, но и у неё готовила всегда я. А Валя садилась за пианино, наигрывала, пела смешные песенки…

Жила она в том доме, где всё партийное начальство. Как-то рассказывает: встретил её на лестнице третий секретарь райкома (третий, как известно, по идеологии), встретил и говорит: «Валентина… — отчества не помню, кажется, Борисовна. — Так вот, — говорит он: — Валентина Борисовна, к вам ходят Бергеры, вы попросите Анатолия, чтобы он прочитал вам те стихи, за которые его посадили». А через пару дней увидела она его и говорит: «Владимир Николаевич, я сказала Толе, что вы хотели, чтобы он прочитал свои криминальные стихи, а он почему-то отказался». — «Ой, Валентина Борисовна, зачем же вы так сказали?»

Но после нескольких подобных разговоров вербовать её в стукачки перестали. Хотя досталось ей больше всех наших друзей. Немцы были сами ссыльные, Райка никакой особой должности не занимала, художник Вадим — в Курагине птица залётная. А вот Валька… Работала редактором на радио, как они говорили, на идеологическом фронте…

Особенно донимали учителя. В маленьких городках, в посёлках — это зачастую самые консервативные люди. Один из них спросил, не боится ли Валя, что ей начнут бить стекла, другой сказал, что больше не пустит к ней свою дочь: «В вашем доме свили гнездо эти осы». (Кстати, с той поры, встречая этого учителя, Толя сразу начинал жужжать).

Боялась ли Валя этих угроз? Конечно. Как всякий человек, живущий в стране Советов, как всякая мать. Тем не менее, дружба наша только крепла.

Приехал Олег. Валька не пустила его домой. Он пришёл к нам, попросил Толю пойти вместе с ним. Было долгое, трудное объяснение.

Валька потом горько, горько плакала. Только тогда стало ясно, как любит она Олега. Но предательства простить не умела.

И снова мы собирались втроём у неё, у нас, болтали часами, смеялись.

Когда кончилась наша ссылка и пришла пора расставаться, Валька позвала к себе и предупредила, что в аэропорт не поедет и плакать не будет. Мы выпили водки, съели котлеты, потом она села за пианино, пела хулиганские, матерные частушки и плакала, плакала, плакала…

Писать она не стала. Да и заранее предупредила. Мы сначала

рассказывали ей в письмах обо всех наших новых мытарствах уже в Ленинграде, но ответа не было. Перестали писать и мы. Потом узнали, что из Курагина она уехала. Куда?

Проходит время, а я всё чаще вспоминаю её, всё больше скучаю.

Валька, где бы ты ни была, откликнись!

День рождения тёти Нади

— Ленка, ты приготовишь мне день рождения?

— Конечно, тётя Надя.

— Я куплю. Ты только скажи — чего, я куплю…

Покупать тётя Надя страх как не любила. Ещё когда кормишь её обедом, принести на стол чего из огорода — это куда ни шло. Но покупать…

Однако на этот раз она и впрямь была готова раскошелиться. Правда, в сельском-то магазине и при желании не больно разгуляешься. Несколько плавленых сырков, пара банок рыбных консервов. Да у соседки — яйца.

Тем не менее, стол получился. Салаты были вкусными и даже красиво украшенными. Извлечённое из старых запасов копчёное мясо не потеряло вкуса. Коптят его в посёлке немцы, и делают это на совесть. А посреди всего стола — беленькая.

И пришли гости. Оглядели стол.

— Откуда повар? Уж не с Ленинграду ли?

Налили водки.

— Давай полную. Я не половинкина дочь.

Стали подвигать друг другу закуски.

— Не у мачехи росла — достану.

Выпили по первой, закусили, запели.

Гостями у тёти Нади были: наш знакомый Гриша, тоже ссыльный, сидевший по обвинению в украинском буржуазном национализме, коренастый, обстоятельный, довольно образованный и гордящийся своей образованностью мужчина лет сорока пяти. Бабка Никитична, сморщенная, в затертой «плюшке» (плюшевой кофте), похожая на всех бабок сразу. Роза, почтальонша, живая, разбитная, ещё довольно моложавая. И Ольга, худая, вся выбитая, в висящем как на вешалке пиджаке — очевидно, из той, давней жизни, с орденом Ленина на лацкане.

В молодости Ольга хорошо пела, её даже хотели взять в Москву в театр народного творчества. Но началась война, и всё кончилось. С двенадцати лет Ольга без продыха вкалывала в колхозе, голодала, надрывалась, заслужила орден Ленина и нажила язву желудка. Теперь у неё колхозная пенсия — двадцать рублей.

Муж Сёма — фронтовик-десантник — работал сторожем. Зарплата — шестьдесят рублей. Едят мало, пьют много. Сёма всё, вплоть до уксуса. Но когда тётя Надя, чтобы сэкономить электричество, не включает телевизор, она идёт к Ольге. У Ольги включают. Сидят, смотрят, лузгают семечки.

Есть у них и ещё один член семьи — дочь Любка. С четырнадцати лет пошла она по рукам. Сейчас привела домой временного мужа. Муж этот Любку поколачивает — да всё норовит в бока, в живот, чтоб не понесла.

По праздникам и выходным Ольга надевает свой пиджак и идёт по селу. Нет, она не заявляется на чужие поминки, как делают многие старухи, чтоб покормили, напоили, платочек подали. Она просто ходит по улицам, но когда кто-то зазывает и подносит стаканчик, выпивает и поёт.

Вот и сейчас, чуть закусив после первой, Ольга запела, затянули песню с бабкой Никитичной, близко сдвинув головы и глядя друг на друга. Голоса громкие, а слов не разобрать. Только и расслышали: «Ох, мороз, мороз, не морозь меня». «Не морозь» — звучало твёрдо, без мягкого знака, приказно, не просительно.

Распахнулась дверь. На пороге соседка.

— Ольга, там Сёмка зятя убивает.

Вскочили все. Бабка Никитична так заторопилась, что упала на пороге, пришлось поднимать. Собрались идти разбираться, кто кого убивает, и Толя с Гришей, да я удержала. Уж очень откровенно в голосе соседки любопытство слышалось — не страх.

— Никто никого не убьёт. Здесь дело семейное. Вам, чужакам, соваться нельзя.

Дело действительно оказалось семейным.

Пришёл Сёмка домой, а Любка на полу валяется без сознания. То ли муж побил, то ли сама в обморок упала, и такое с ней бывало. Сёма сразу с кулаками на зятя кинулся. А тот парень крепкий, легко оттолкнул Сёму, да и врезал ему.

Выбежал Сёма во двор, схватил топор и крикнул соседкам, что на завалинке сидели:

— Бабы, айдате, я зятя убивать буду.

Вот тогда за Ольгой и прибежали.

А Сёма тем временем и вправду пошёл на зятя с топором, тот топор вырвал и звезданул тестю. Свалился Сёма на пол. В это время и Ольга подоспела, бросилась на зятя. Но тут пришла в себя Любка и с криком: «Не бейте моего мужа!» — укусила мать в затылок. После чего Ольга свалилась на кровать и заснула. А чуть попозже расползлись по кроватям и другие участники драки.

Когда мы вышли из дома провожать Гришу, все соседки сидели напротив Ольгиного дома, как в партере, и ждали, не произойдёт ли там ещё чего.

Нам с мужем оставалось прожить здесь в ссылке год и месяц, Грише — три года и одиннадцать месяцев.

Котовская история

Когда мы поселились у тёти Нади, Васька был обычным деревенским котом: худой, грязно-серый, настороженный, ни на какую ласку не идущий. Тётя Надя его, конечно, кормила, но уж очень нерегулярно. Бросит, бывало, кусок мяса: «Жри, той враг, быстрее меня жрёшь».

Мы поставили Ваське специальную миску, стали наливать и накладывать в неё всё то, что ели сами. Васька отъелся, стал гладким, вальяжным. Выяснилось, что он даже красив, и шерсть у него серая, блестящая, и на ласку он откликается.

Но тут тётя Надя, отродясь не испытывавшая к животным никаких тёплых чувств, вдруг взяла домой маленькую кошечку. Правда, было и объяснение: коты ленивые, мышей не ловят, кошка подрастёт — будет ловить.

Очень обиделся Васька. Злобно зашипел на этот бело-чёрно-жёлтый комочек. И ушёл из дома. Дня два или три пропадал. Вернулся. Врезал лапой кошечке между глаз. Но потом помирился и даже стал её воспитывать.

Так в доме появилась Катька. Маленькая (кошки этой породы так и остаются миниатюрными), на белом фоне жёлтые и чёрные пятна. Веселая, ласковая, игрунья. Даже в хате с ней как бы теплее стало.

Мы поставили вторую миску. И было забавно смотреть, как ел каждый из своей, косясь на другого, как, когда наступало насыщение и своя еда переставала привлекать, Васька шёл к Катькиной миске, а Катька — к его, и ещё что-то там доедали.

Очень легко коты поддавались воспитанию. Однажды Катька порвала нужную бумагу, муж небольно наказал её. Катька не обиделась, сама скоро пришла ластиться, но с той поры бумаги могли лежать где угодно, Катька их не трогала.

Они сами выбрали себе своих людей. Катька вспрыгивала на колено к мужу и, вытянувшись, вместе с ним смотрела в телевизор, а Васька ещё с порога урчанием оповещал меня, что идёт ласкаться, и, забравшись, положив голову мне на плечо, начинал тянуть мою руку, чтобы самого себя ею гладить. И всё было бы хорошо с котами, но тётя Надя невзлюбила Ваську. Скорее даже не так: он просто стал ей не нужен, когда подросла кошечка. И кормить ей его было не надо — мы кормили, и всё равно — то толкнёт, то ногой ударит.

Многое мы ей спускали — и скупость, и хитрость такую явную. Всё это было как-то объяснимо — жизнью её, судьбой переломанной. А вот тут… И спорили, и ссорились, и я уже вовсю была настроена искать новое жильё, как муж нашёл довод: «Тётя Надя, есть статья закона, запрещающая издеваться над животными». — «Так он же мой!» — «Ну и что? Роли не играет. Всё равно могут привлечь».

Задумалась тётя Надя. Но больше — при нас, во всяком случае, — Ваську не била.

Когда нам пришла пора уезжать… Впрочем, нет — ещё до этого, — был такой интересный эпизод. Маленькая Катька всегда поутру прыгала к нам на кровать. Как-то прибежала с улицы после дождя и раз — на пододеяльник. Я возмутилась: «Катька, с грязными лапами на кровать!» Но поскольку она всегда так делала, наказывать её я не имела права — мы с котами всегда

вели себя по справедливости, весь гнев я вылила на, так сказать, её хозяина, на мужа: «Это безобразие. Кошка не должна с улицы прыгать на пододеяльник». — «Ну что ж, поставь ей тапочки, — резонно заметил Толик, — как ты ей объяснишь, что после дождя не надо сюда идти?» — «Не знаю как, но Катька не должна прыгать на кровать».

Наступило следующее утро. Катька не пришла. Было непонятно, странно. Следующий день. Опять то же самое. Кошка перестала прыгать на кровать. И только тогда, когда мы начали свои предотъездные сборы, она снова пришла к нам утром. Больше её уже никто не гнал.

В последние ночи коты совсем почти перестали уходить из дома. Я садилась на корточки у чемодана. Васька немедленно забирался на колени. «Уйди, — просила я, — ты ведь такой тяжёлый, бык. Я не могу так». Но не было решительности в моём голосе. И все вещи я так и собирала, с котом на коленях.

Когда прошло несколько месяцев после нашего приезда в Ленинград, мы получили письмо от соседки.

«Ваша Катя родила котят, — писала она. — Надя их не выкинула. Говорит: Лена их любила».

У баптистов

Когда муж ездил страховать в дальние деревни, я зачастую увязывалась с ним. Предлагать застраховать жизнь или имущество здесь не стыдно — сами ждут: то медведь в соседнем селе задрал корову, то лесина, упав, мужика покалечила, то сгорела баня, и пожар каждую ночь потом снится. А возможность зайти в любой дом, увидеть, как смотрят из-за занавески внимательные детские глаза, услышать, как прошелестит старушка: «Что ты, милый, пенсия — 20, за 12 мешок муки купила, куда раньше — не знаю», посидеть в справной избе, где и ребята чистые, и хозяйка большая, крепко сбитая и с мужем согласие, уважение друг к другу, услышать неожиданную горькую исповедь неказистого мужичонки, исповедь, которая захлебнётся, едва начавшись — какие часто мучительные, но необходимые сердцу минуты…

В деревне Тюхтяты нас взяла на квартиру (вернее, в свой обычный крестьянский дом) председательница сельсовета. Невысокая, с лицом усталым, но всё ещё красивым и значительным она поражала необычной для людей — при должности — смелой решительностью. Тюхтяты — деревня для начальства трудная: живут тут и бывшие раскулаченные (сама председательница из них) и те, которые выгоняли своих односельчан с детьми из дома, отбирали имущество, скотину.

Ничего не забылось, как показывает опыт. И идут стенка на стенку внуки прежних врагов. Нам и самим пришлось познакомиться с тем, кто когда-то вершил тут расправу. Маленький старичок с паучьими ручками и ножками, приняв нас за начальство, стал жаловаться — то внуки бывших кулаков у него мотор от лодки испортили, то камень кинули. Мы, признаться, слушали не без злорадства. А ей, председательнице, каково. Что же касается помощи из района, — улыбнулась она, — Хм… Расскажу вам один случай.

У нас в селе баптистская группа. Они как бы официально не запрещены, встречаются открыто. Но вот приехали агитаторы из района (с милицией, естественно) проводить с ними антирелигиозную работу. Собрали всех в клуб. И стали говорить, что Бога нет. Баптисты, как вы знаете, библию читают постоянно, они им на каждое слово — из священного писания. Быстро иссякли пропагандисты. И тогда один из приехавших обратился к единственному в секте мужчине: «Собирайся, поедешь с нами».

Встала старшая (не знаю, как она у баптистов называется), благословила старика: «Поезжай, брат, пострадай за дело Божье».

Пошёл старик домой, собрал узелок, стоит, ждёт. А агитаторы сидят, пьют, едят да в окно на стоящего посматривают да посмеиваются.

Вышли, забрали в машину, провезли километров 20 да и высадили. А он потом со своим узелком пешком домой возвращался.

— Гады, — сказали мы. Помолчала председательница, но была в её взгляде и боль, и горечь.

Назавтра, когда пошли мы по селу страховать, постучались и в избу баптистов. Сразу почему-то поняли, куда пришли. Дом их среди всех выделялся. Пол белый, скобленый, чистый-чистый, на особом столе — Библия. Вышли к нам навстречу старик и старуха. Высокие, крепкие, красивые. Одетые опрятно и даже нарядно. Платок на старухе с цветами, у старика сорочка у ворота вышита.

Страховать что-либо они отказались сразу. На всё, мол, воля Божья. Но незваных гостей из дома не торопили. А когда муж подошел к столу с Библией, взял в руки Книгу, какой веры мы — не интересовались, приняли нас, как самых желанных.

На чисто белый стол хозяйка поставила две тарелки прозрачного бульона, миску домашней сметаны, тарелку мёда со своей пасеки, свежеиспечённый хлеб. Сметана была густая, как масло, запах мёда распространялся по всей избе.

Наверное, в своей жизни я ела и более вкусные яства, но ни одна трапеза не запомнилась мне так подробно и зримо.

Сейчас, когда много говорят о необходимости возврата к крестьянским хозяйствам, рассказывают, как хорошо жила деревня до революции, я понимаю, что это идеализация. Жили по-разному, и разными были люди. Да если бы такой распрекрасной была Россия, не продержались бы большевики столько времени. Но вот перед глазами дом баптистов — двух высоких, красивых людей из сибирской деревни Тюхтяты.

Рядом с Николой

Церковь деревянная, высокая, шатровая, лемех блестит на солнце, крытая галерея ведёт в зимнюю половину. Крыльцо, балясины. Не первый раз вижу такую красавицу, но чтобы без туристов, без охов, вспышек фотоаппаратов… Никого. Скромный погост вокруг да несколько изб поодаль.

Пока мои спутники ходили за хранительницей ключей от церкви, я нашла щель в заборе, подошла поближе и осталась одна с красотой, тишиной, покоем.

Держательница ключей оказалась ещё крепкой, широкой в кости старушкой, несмотря на хромоту, прочно укоренённой на земле. Открывая неувиденную мной калитку, она уже рассказывала, как сюда, в эту деревушку Согнивицы теперь даже иностранцы приезжают.

Бойко прошкандыбала по ступеням, повернула ключ в замке.

Церковь внутри оказалась просторной, чистой. Реставраторы подремонтировали угол, а центральную часть не тронули. Посередине высился столб из какого-то розоватого дерева, наверху коньки-обереги.

— А служба здесь бывает?

— До 34-го года служил отец Василий. А там забрали. Мама его прятала, да всё равно нашли. Я думаю — его, коли и довезли, то сразу и выкинули. Он там уж не жил. Старый был.

— И ничего о нём не слышали?

— Откуда? Тогда многих забрали. Один мужик жену схоронил, три дочки остались. Забрали. Но у нас люди хорошие, взяли их по семьям. Одна и сейчас здесь живёт. Прислали ей бумагу — где отец похоронен. Да кто сейчас поедет? Здесь бы могилы убрать. У нас тут две с половиной тысячи жило, сейчас пятнадцать.

— Раскулачивание?

— Кулачили сильно. И война.

— А Вы в войну здесь жили?

— Нет, меня в город увезли. У меня до сих пор в Петрозаводске подруга осталась. Мы с ней тогда работали. Пишет, в гости зовёт.

— А работали где?

— На железной дороге. В конторе прибирались.

— Немцы?

— Нет, финны. Немцы редко приходили.

— Ой, чего расскажу. Был там один финн. Вот говорит он официантке — тут есть одна хорошая русская девушка, я ей хочу

по-русски «добрый день» сказать. А та возьми и научи — по матушке. Ну, схулиганила.

Я иду. Он: «Галя, добрый и…» Я не сдержалась — Дурак, — говорю. Он обиделся: «Почему я дурак?». А я убежала.

Назавтра позвали меня в контору хозяева:

— Как же ты могла финского офицера дураком назвать?

А я стою, молчу.

— Он тебя обидел?

— Обидел, — говорю.

Они к нему:

— Что ты ей сказал?

Он (я по фински уже понимала):

— Я только хотел сказать «добрый день»

— А как ты сказал?

Он и повторил. А те русский хорошо знали.

— Дурак ты, — говорят. И объяснили.

Он покраснел:

— Ой, Галя, прости меня.

— Простила, говорю.

Назавтра иду. Он навстречу.

— Галя, зайди ко мне.

Я не хотела. Стою. Молчу. Наклонила старушка голову — и как выглянула прежняя Галя — крепенькая, ладная, надутая.

— Зайди, зайди.

Он мне коробку конфет подаёт. А я таких никогда не видела. Тут, наверное, грамм пятьсот было, и каждая конфета в такой кружевной бумажке.

— Прости меня, Галя, я не хотел.

— Да я и так простила.

— Нет, возьми конфету. Ну не хочешь здесь, возьми с собой и всех своих угости.

Какие были вкусные. Мы с подругой всё потом вспоминали.

— А один раз, — продолжала Галина Васильевна свой рассказ, — девушка из столовой позвала меня на свой день рождения. Я не хотела. Там хозяева. Но она говорит: «Приходи, приходи». Ну, я и пришла. А она кофе сварила. И блины с топлёным маслом — так горкой стоят. А как их есть — и не знаю. Смотрю — хозяева кофе в чашечках ложечкой помешивает, блины вилкой и ножом едят. А я взяла и уронила. А девушка, что позвала, мне всё ногу жала. Я потом спрашиваю: «Ты чего жала?» — «Чтобы ты не поднимала». А я и сама не подняла, — сказала старушка, ещё и сейчас гордая, что не посрамила честь страны.

— У нас тут все, которые в оккупации, как я несовершеннолетними были, им к пенсии доплачивают. А мне не

дают. Говорят, свидетелей нет.

— А Ваша подруга.

— Ей не надо. Она уже взрослая была. А кто здесь остался, так говорят: «Ты в городе была — откуда мы знаем что ты там делала».

— Значит, всё ещё за старое. Вам, наверное, за жизнь в оккупации и раньше доставалось.

— Ой, не говорите. Всё проверяли, проверяли. Потом только на почту пригласили работать. Я говорю: «Я же в оккупации была». — «Знаем, — говорят, — мы проверяли. Нет за тобой ничего, работай».

— А надбавку всё же не дают?

— Не дают. Ой, Петровна идёт. Ей уже 82 года. Тоже одна живёт.

Подошла Петровна. Худая, вся высохшая старуха.

— Не слышала — будет трактор?

— Не знаю, обещался.

— У меня 12 соток, — продолжала Галина Васильевна, — Прошлый год трактор за то, чтобы вспахать, брал 10 тысяч, сейчас 20. Да посадить самой, да окучивать.

— А у Вас детей нет?

— Есть дочка. Поехала на север с мужем за длинным рублём. А сейчас нет длинного, ничего нет. Приедут с детьми скоро погостить.

— У нас тут недавно такая хорошая женщина умерла. Муж очень убивался. Привёз из другой деревни батюшку, здесь отпевали. У меня дочка некрещеная. И муж её, и дети. Она у меня бедовая. А я думаю: окрестить — лучше будет. Спросила батюшку, сколько стоит. Сказал — не то 20 тысяч, не то 30. Наверное, 20. Но всех четверых — это какие же деньги.

— Но Вам-то дешевле, наверное, Вы же за церковью следите.

— Вот и я надежду имею.

— Значит, все к Вам приедут, Вам легче будет.

— Да только картошку мне самой садить надо.

Мы уехали. А Васильевна с Петровной всё стояли на дороге возле церкви, всё смотрели, не появится ли за поворотом трактор. Пора уже было пахать.

P.S. Этот рассказ написан в девяностых годах, и тут уже не Сибирь, но тоже Россия — деревня Согнивицы Подпорожского района Ленинградской области. И судьба Галины Васильевны кажется продолжением во времени судеб наших курагинских знакомцев.

Автобиография Анатолия Бергера

Я родился 5 сентября 1938-го года в Ленинграде.

Отыщу ли я себя в том дальнем, полузабытом, что называется, прошлым? Дом на Большой Московской и сейчас стоит. После капитального ремонта он упрочился, будто возвысился. Улица поделилась надвое — половина пешеходная, а другая, близкая к дому, прошита транспортом насквозь. Каково нашим бывшим комнатам, таким нашим тогда? Что видно из кухни — маячит ли вдалеке тёмным поднебесным золотом Исаакий? А что во дворе, где метался мяч, где с криками бегали, забивали голы? Нет двора, разошёлся в разные стороны, пусто,

превратился в проход к следующему дому, выставленному окнами на Разъезжую. И жизнь, в те годы такая всамделишная, такая всеми своими извилистыми корнями привязанная к земле, такая вбитая в тротуар — где она? Где соседские мальчишки, с которыми играл, возился, мотался, перекрикивался, сговаривался, — где? Где Володька Шостакович, родной племянник композитора, Володька, чей отец издали особенно похож был на маленького, упрямо спешащего куда-то гения? Где Юрка Браверманн — высокий, чернявый, сильно бьющий по мячу в мои вратарские владения? Где братья Якунины — Женька, Володька, а старший Юрка погиб, карабкаясь по водосточной трубе на 5-й этаж, обожгла губы глупая сигаретка, дёрнулась рука, скатилась ступня с покатой железяки и всё — разом, навсегда — в смерть, в кровь. И не только они — кого помню. Но и те, кого не помню, да и не знал — все исчезли, пропали для меня теперешнего, как и я для них.

А когда вспоминается детство —
Под Уфою бараки в снегу —
Никуда от печали не деться,
И хотел бы — вовек не смогу.

Завывала пурга-завируха,
В репродуктор ревела война,
И преследовала голодуха
Год за годом, с утра дотемна.

И ни сказки забавной и звонкой,
Ни игрушек — весёлой гурьбой —
Жизнь пугала чужой похоронкой,
Заводской задыхалась трубой.

Пахло холодом и керосинкой,
Уходил коридор в никуда,
И в усталой руке материнской
Всё тепло умещалось тогда.

Из того времени запомнился один случай. Жили мы голодно, в бараке, как многие тогда. Однажды я занимался тем, что бросал камешки куда-то на чердак, они рикошетом разлетались в разные стороны. Я был очень увлечён, ничего кругом не видел. И вдруг всё оборвалось — откуда-то набежали люди, схватили меня, потащили. Всё было, как в страшном сне. Оказывается, мимо шла женщина с бутылкой молока, и камешек разбил бутылку.

Родители, конечно, возместили ей стоимость бутылки с молоком, но до сих пор я чувствую ужас, хлынувший тогда в душу. Близкое к тому ощущение я испытал через много лет. И тоже всё было, как во сне — набежавшие смутные злые люди, их крики и внезапность моей вины перед ними. И тот ужас, хлынувший в душу. А тогда продолжалась эвакуация, Уфа, зима.

Потом помню 9 мая 1945 года. Небо пылало. Мерцало, переливалось. Мы стояли с мамой, держась за руки, и смотрели на него. Кругом был полуразрушенный город, хмурые лестницы. В наш дом в блокаду попали две бомбы. Рассказывали, что сосед с четвёртого этажа брился, и ему оторвало голову с намыленными щеками. Девочка из нашей квартиры на пятом этаже была на кухне, пол провалился, но она оказалась под столом и приземлилась, как под крышей, без повреждений. Этот «юнкерс» летел бомбить Витебский вокзал, но промахнулся и попал в наш дом. Его сбили. Пилотом была женщина.

Помню тёмный запах послевоенной поры. Всё было втёмную — город, люди, трамваи… Инвалиды-обрубки на катящихся квадратных досках. Каково им было смотреть снизу на нас… Как курили они свой беломор, окурок не отцеплялся от дымящихся губ, торчал, ходил дымными кругами. И пахло помесью этого дешёвого дыма, тяжёлого мужского пота, пахло мертвецкой и шалманом. И шум, шум — гудки, дребезг трамваев, крики, треск, утробный накат уличного репродуктора.

Школа, разбегающиеся друг от друга коридоры, сдвинутые парты в тесных классах, мы за партами, запуганное пространство, засунутое в тёмное время, и дёргаются детские голоса, бубнит

голос учительницы. Я сижу, пишу диктуемое учительницей, кто-то сзади тычет мне в затылок ручкой, хватаю пенал, оборачиваюсь, бац по стриженой голове обидчика, тот в слёзы, головой свалился на парту, меня наказывают. А я знаю, что я прав, а он виноват, я злюсь на несправедливость, я чую враждебность людей — с тех пор навсегда. Школа — это недосланное утро, хмурая, торопливая улица, страх, что вызовут к доске, хоть урок знаю, соперничество с прочей малышнёй, а малышня злая, звериная, не прощающая слабости, не прощающая ничего.

Дома хорошо. Но вижу, вижу тесноту нашей комнаты, где втроём — папа, мама, я, а дедушка с бабушкой в другой комнате, но у них своё житьё, хоть и связанное с нашим не всегда доброй ниткой. И соседи — одна комната — Павел Иванович и Анна Сергеевна — люди совсем чуждого мира, хоть говорим на одном языке, живём в одном доме, в одной квартире. Люди из другой комнаты — и это тоже навсегда.

Комната дедушки и бабушки — большая, широкая, 31 метр (наша — 26 метров). У дедушки с бабушкой посредине комнаты круглый, большой, как карусель, стол, у окна швейная машинка «Зингер», бабушка — отличная портниха, к ней ходят заказчицы, важные, по моему детскому разумению, дамы, стоят перед трюмо, вглядываются в себя, клонятся туда-сюда, бабушка булавками пришпиливает их к неровному, не готовому ещё платью, кружится по-портняжьи около с булавками в губах. Слышу порой обрывки разговора для меня непонятного. Азбука чужого ремесла — всегда чужой язык, мне тогда зачем он? Бабушка крепкая, кряжистая, умелая, работящая. С шести утра порой слышится жёсткий шелест её швейной машинки, чьё название так певуче, а голос так отрывист, нетерпелив, твёрд. Дедушка — высокий, тонкий, седой давно уже не работает, а когда-то был счетоводом, но славился, по словам мамы, не мастерством, а честностью.

Дом вела бабушка, да и содержала их семью, а дедушка ходил в булочную, но большей частью слонялся из комнаты в комнату, к нам пробирался без стука, чем вызывал скрытое недовольство и папы и мамы. Почти всё время моей жизни на Большой Московской с дедушкой и бабушкой жил их младший сын Евсей, но все называли его Геся, хотя это женское уменьшительное еврейское имя. Потом он привёл жену, потом появился сын.

С той поры, как живу — знаю — два человека любят меня на земле, любят неотпускающей любовью, те двое, из чьей плоти и крови я слеплен, те двое, чья встреча высекла мой огонёк из сумрака нежизни. И как страшно сознавать сейчас, что говорить о

них нужно в прошедшем времени, что их огоньки ушли, догорев, в тот самый сумрак, из которого когда-то они высветили меня, и моей горькой памяти отныне хранить мгновения их жизни, пока и меня не сдует ветер будней.

Папа — среднего роста, силач, в молодости спортсмен, чемпион Урала по прыжкам в длину, бегу, шахматист первой категории, участвовал в первенстве страны. Какие крепкие руки были у него, когда он поднимал меня над землёй, какими крупными казались стёкла его очков, каким широким, раскидистым чудился его лоб. Первые детские воспоминания — мне год, я в кроватке, и он целует, тискает меня, и я смеюсь ему в ответ, мы давно не виделись и радуемся встрече, и чувство этой радости я помню, а больше из тех лет не помню ничего — лет до четырёх-пяти.

Мама — нежная, мягкая, красивая, её улыбка обнимала меня всего, её голос казался сотканным из доброты и ласки, и ещё музыки, потому что она пианистка. Пианино — чёрное, прочное, вздымающееся от пола к стене, как крыло прекрасной птицы. А звуки, сбегающие с чёрно-белых гладких клавиш — они говорят маминым голосом, но что-то совсем иное, о чём-то своём, но и моём, и мамином, и папином, и о том, что за окном небо, летящее в высоте, и крыши соседних домов, смутно поглядывающие на землю.

А моё детство между тем окончилось, трудный возраст подростка крутил и мял мою душу. Учиться становилось всё горше, полюбил я только древнюю историю и чувствовал ещё какое-то притяжение слов и скоро (в 13 лет) стал писать стихи.

Первые почти строки: «Хотел бы я поэтом быть, среди стихов прекрасных жить, и чтоб вокруг меня они всё озаряли, как огни». Но самое первое стихотворение было другое — корявое, длинное, сейчас напрочь не помню. Но помню, что лежал больной в простуде и как-то сами собой, толкаясь и мешая друг другу, выпрастывались слова, первые мои слова, за которыми вслед потом столько ещё слов…

После школы я пытался поступить в Ленинградский университет на исторический факультет. Увы, это не получилось. В университет косяком шли люди из союзных республик и автономий, инвалиды, пришедшие из армии. Я недобрал баллов. Год пропадал, и родители пристроили меня помогать библиотекарше в 321-ю школу, где я учился с третьего по восьмой класс.

Работал я бесплатно. Радовало только то, что школа эта была в прошлом первой гимназией Петербурга. Там были чудесные книги — большие, как церкви, тома Ивана Забелина «Домашний быт русских царей», «Домашний быт русских цариц». Там я впервые прочёл Иннокентия Анненского, прижизненные издания его стихов, поразивших меня пронзительной подлинностью переживаний, острой точностью слова, горькой трагической нотой и какой-то непередаваемой пряностью. Я понял, что встретился с настоящей поэзией, что после Золотого века в русской поэзии и вправду был Серебряный. Там же я познакомился с поэзией Бальмонта, который увлёк меня музыкальностью и неумолкающей лиричностью. Я уже был знаком и с Брюсовым и, конечно, с Блоком, но восприятию их, особенно Блока, вредила советская школа, навязывающая свои убогие штампы. Тогда же, в 1956 году (или 57-м?) я прочёл в «Иностранной литературе» баллады Франсуа Вийона в переводе Эренбурга, и они навсегда остались со мной. Вообще я всю жизнь словно бы плачу долги своей юности, по сей день. Тогда же я начал собирать книги и горжусь своей библиотекой — моим прибежищем и другом в трудную минуту.

Между тем время шло. На следующий год я поступил в Библиотечный институт. А что было делать? В технические вузы я не пошёл бы под угрозой чего угодно, я совершенно был не способен к точным наукам, а гуманитарных вузов больше не было для меня. В педагогический институт имени Герцена я идти не хотел, не хотел стать педагогом, школа мне осточертела на всю оставшуюся жизнь. Но в библиотечном институте не было военной кафедры, и это мне через 4 года тяжко аукнулось.

Библиотечный институт был довольно скучным девичьим

заведением. Правда, при выходе из гардероба на лестнице вас встречали мраморные юноша и девушка, но они куда-то пропали ещё в советские времена, видно, оскорбили высокий вкус кого-то из партийных начальников. Впрочем, пропавший без вести мраморный юноша ненамного увеличил бы наш куцый мужской контингент.

Но нет худа без добра — в институте было несколько очень хороших преподавателей. Древнерусскую литературу вёл Кононов. Я забыл многие имена и его имя-отчество в том числе. Но как он читал! У него было два образования — филологическое и театральное, и он изображал в лицах то Фролку Скобеева, то Ерша Ершовича. Это было чудно. С тех пор люблю всей душой русскую литературу средневековья, её мощный полнозвучный слог, её гулкий голос, жёсткую хитрецу и гневную настоятельность. Прекрасно читали свои курсы преподаватели зарубежной литературы и русского двадцатого века — Таманцев и Раскин.

В библиотечном институте учиться мне было легко — многое из литературы, из истории я знал не хуже преподавателей, скучны были только типично библиотечные предметы — библиотековедение, библиография.

Но главным была поэзия. Мне, наверное, повезло: я проходил свой поэтический путь в русской поэзии от Кантемира и Тредиаковского к Державину, а дальше к Жуковскому и дальше, дальше, но не отбрасывал бывших кумиров, они все оставались со мной. Лермонтов был не только юношеской любовью, как у многих, он остался со мной на всю жизнь, как и Пушкин, конечно. Тогда же пришёл черёд Боратынского с его гордой суховатостью, с его жёсткой проникновенностью. Помню, как поразил при первом прочтении Тютчев, как приковал к себе навсегда Фет с его дивным воссозданием русской природы. Подходила пора и поэтов двадцатого века, но об этом позже.

Нам, детям сталинского застенка, называемого тогда жизнью, случилось читать мировую литературу в переводах лучших поэтов, которым зажали рот, и они отдавали свой дар великим иноземцам. Данте в переводе М.Лозинского, Шекспир в переводе Б.Пастернака и того же Лозинского, Гёте в переводе Пастернака, Байрон в переводе Т.Гнедич. Да и само искусство перевода необыкновенно выросло в те годы. Воистину оправдались строки А.Майкова — «чем гуще мрак, тем ярче звёзды». Байрон в переводах Вл. Левика, упомянутой уже Т.Гнедич, В. Жуковского, А.К.Толстого стал любимейшим моим поэтом. Конечно, и жизнь его, весь его прекрасный облик поэта-героя, красавца-воина — всё покоряло меня.

Десятилетним мальчиком я прочёл взахлёб «Три мушкетёра» и заболел Францией XVII века, Францией звонкой шпаги и блистательных диалогов. Наверное, сто раз перечитывал я Дюма. Где-то лет 14-ти прочитал я «Преступление и наказание» — самую, быть может, искреннюю книгу Достоевского, где в разных героях двоится-троится его страшноватая, тёмная душа. «Война и мир» меня забрала всего, обволокла с головы до ног правдой каждого слова, жеста, движения. И хотя как-то не верилось в такое быстрое преображение Наташи в примерную родительницу, а Пьера в домовитого хозяина, да и послероманные рассуждения разочаровывали, но всё прощалось великой божественной силе творца. И многих я тогда прочёл — и французов, и англичан, и дальних, и ближних, но уже подходило время не книг, а жизненных перипетий.

За четыре года обучения в библиотечном институте меня посылали, как и прочих студентов, в колхоз, где хозяйничала бедность и голодуха (в первые же дни у меня украли домашние припасы — сливочное масло, колбасу, ещё что-то). Люди там и вправду света божьего не видели — ещё солнце едва всходило, они уже вкалывали в коровниках, свинарниках, на полях. Только в конторе начальство начинало копошиться попозже. Там мы помогали собирать картошку, работали на прополке. Я писал тогда: «Борозде ни конца и ни краю, и зелёной молясь звезде, умираю я, умираю, умираю на борозде». Ощущение, конечно, паническое, но верное. Девчонки справлялись как-то шустрее, бывало, разогнёшься, подымешь голову и видишь, как впереди быстро передвигаются их чёрные фигурки в резиновых сапогах и капюшонистых куртках. А с неба дождь, сырость, хмарь, пасмурь…

После второго курса послали нас на целину, аж на три месяца, было очень тяжело, вставали в 7 утра. Работали до трёх ночи — что делать — уборочная. Я работал на комбайне копнителем, грузчиком на машине, разгружая силос, недолго на току. Это было в Казахстане, село Бахмут. Там впервые встретил я ссыльных немцев. Их в 12 часов выслали с Волги в 1941 году.

Жили мы в саманных домиках, кругом была степь. Я писал:

«Как в степи человек одинок — ни людей, ни домов, ни дорог, только дали, и дали, и дали, и горит — огонёк ли? звезда ли? на далёкой последней черте, недоступной подобно мечте». В последний институтский год послали на стройку в самом Ленинграде. Мне пришлось красить крышу на седьмом этаже огромного дома, и я вдоволь нахлебался страха высоты. Красили мы вдвоём с рабочим парнишкой, девчонки же институтские работали в неотделанных комнатах дома, циклевали, штукатурили, красили.

Скоро окончил я институт, получил диплом библиотекаря-библиографа высшей квалификации, хотя таковым себя не чувствовал. Да и вообще верный способ разлюбить книги — работать библиотекарем, отчего я от этой работы бежал, где было возможно, как чёрт от ладана.

1962 год. Мне здорово писалось в этом году. Я никуда не совался с печатанием, но как-то несколько моих стихов попали в руки А.А.Прокофьеву, сыну известного поэта. Саня Прокофьев, как его называли вокруг, сидел тогда в «Смене» и ведал стихами. Один мой стих особенно ему пришёлся по душе: «Синее небо и бездонней, и дышит свежестью сирень, и ощущаешь всей ладонью пушистый, тёплый майский день». «Вот настоящая поэзия», — говорил он. Но, увы, Саня неожиданно умер, отравился каким-то зельем.

К тому времени у меня появились друзья, которым я читал каждое новое стихотворение, друзья, мнением которых я дорожил. Это были учившийся вместе со мной в библиотечном, но на факультете культпросветработы Коля Браун — сын известных поэтов Николая Брауна и Марии Комиссаровой, и Андрей Бабушкин, яркий, красноречивый, писавший прозу и понимавший в литературе как мало кто. Коля Браун знал русскую поэзию от корней (ещё бы, в такой семье родился). Он обладал прекрасным чувством русского языка и был человеком разнообразных способностей — и литературных, и живописных, и музыкальных, да ещё и спортивных. В таком кругу мне писалось хорошо, и молодое вдохновение бурлило вовсю.

Но, увы, жизнь советская с этим не считалась. Я не поехал по распределению в Псковскую область в детскую библиотеку, пытался устроиться в Ленинграде, работал на заводе «Электросила» браковщиком.

Но, как я уже написал раньше, в библиотечном институте не было военной кафедры, и вот в том же шестьдесят втором году меня забрали в армию.

26 июня надлежало явиться в военкомат, имея при себе ложку и кружку, и ясно было, что этот день последний. Меня

провожали отец, мать и друг детства Витя Стукин, и тоска разлуки была общей и безраздельной. Деться от неё было некуда.

Шли утром, город едва проснулся, народ мелькал у магазинов. Свернули с Большой Московской на Разъезжую, потом на Загородный и через проходной двор прямо выходили к военкомату. На пути встретилась похоронная процессия — небольшая и неторжественная, и как потом узналось, — провожали поэта Анатолия Мариенгофа. Это почудилось знаменательным, как и всё почти в эти последние дни.

А когда подошли к военкомату, узнали, что отъезд переносится на завтра, и это было как отсрочка казни. Словно Мариенгоф попросил оставить тот день ему одному. И возвращались домой с тем же сдавленным чувством разлуки, ни есть, ни пить, ни думать ни о чём не хотелось.

Отец ушёл на работу и мать, кажется, тоже. А что делал я — дай Бог памяти — не вспомнить. Вроде звонил кому-то, сообщал о дне задержки. Дедушка и бабушка не удивились, у них была своя жизнь, и часы в их комнате шли тихо и крадучись, как всегда. И ночь прошла, ещё одна ночь, наверняка последняя, а та, предыдущая, оказалась предпоследней, хотя в душе давно была зачёркнута крест-накрест.

27 июня тот же путь. На этот раз ничего не спасло, и пришлось забраться в тесный автобус, наскоро обняв провожающих, и долго потом ловить их лица последним взглядом из автобусного окна, отгородившего меня от моих родителей, от друга, стоявшего вместе с ними, от болезненно любимого в момент последней разлуки города.

Я попал в Заполярье, в войска ПВО (как говорили солдаты — погоди выполнять — отменят или ещё пуще — п-ц вашему отпуску). Армия давалась мне тяжело. Чуть не каждую ночь мне снились крыши домов, что виднелись из нашего окна. Зимой они снились в снегу, летом смотрели светло и железно, осенью смутно и сумрачно. Тысячу раз мне мерещились улицы, фонари, набережные, подъезды, огни машин. Я ловил себя то на Невском, то на Ямской, то на Разъезжей, то на мосту, где медленно темнели старинные цепи.

А наяву — стояли койки в два этажа, мерцала лампочка, маячил телефон у двери и фигура дневального рядом. Толпа солдат в столовой, шум, дребезг и торопливость мисок, ложек. По слову Велемира Хлебникова, мой ритм не совпадал с армейским ритмом. Единственное, что нравилось — бывать в карауле. Я видел ночь глаза в глаза.

Второй год службы я отбывал на острове Витте, между Белым и Баренцевым морем. Оно шумело, набегая на скалы, громоздясь

пепельно и огромно. Тундра разбегалась по острову, темнея мхами и валунами. Порою в небе играло северное сияние. Это было дивно. В небе сияли и переливались словно нотные знаки, и музыка взаправду звучала.

Но люди кругом — что ж, другого и быть, наверное, не могло. Было тяжко, тоскливо. Но стихи я писал, и это мне здорово помогало.

И сказать правду — солдатчина излечила меня от упоения собственной тоской и одинокостью. Я почуял, что могу и побороться с жизнью. Я стал приглядываться к окружающему, осознав вдруг его способность существовать и без меня.

В те же годы я внезапно почувствовал что-то ранее незнаемое — однажды ночью на посту, под небом, среди морского гула, — для меня это был знак Божьего присутствия, и с тех пор то мгновение всегда со мной. Спасибо папе — пока я служил, он купил Библию у знакомого священника — старинный том 1886 года. Я и раньше читал Библию, наша квартирная соседка Анна Сергеевна давала мне почитать её, и я упивался этим удивительным, ни с чем не сравнимым чтением. А уж после — и теперь — с этой книгой я неразлучен.

Вот строки:

О, Север, Север звероватый —
Топорща редкие леса,
Вздымая смутные закаты,
Ты глянул мне глаза в глаза.
Под завывание метелей
И снега злую крутоверть
Теперь познаю в самом деле
Судьбу суровую, как смерть.

Или:

Преследовал меня Полярный круг,
То налетал, то вновь кружил вокруг,
Дурманом вьюг, морозом леденящим,
Немой и страшной темнотой ночей
Брал на испуг, пугая предстоящим,
Стучал в висках всё злей и горячей.

Или

Были женщины, зрелища, строки,

Звёзды, зданья, ночная Нева,
Милый город, какой ты далёкий,
Как затерянных писем слова.

В армии я видел те пороки советского строя, что и дома возмущали меня, но здесь всё выступало острее. Впервые я понял, где живу (до того — скорее, чувствовал) в 1956 году. Знаменитое письмо к съезду, выступление Хрущёва многим раскрыло глаза. Но в отличие от многих, мне сразу стало ясно, что не Сталин породил систему, а система породила Сталина. В те годы появились первые стихи, удостоенные в дальнейшем хищного внимания КГБ.

А ведь в 1953 году, когда умер Сталин, я был свидетелем огромной скорби огромной страны. Помню тёмные толпы на улицах, траурный тяжёлый голос диктора из репродуктора. Помню, в 321 школе нас собрали в актовом зале, вышел директор школы Макарий Георгиевич. Согбенный, худой человек начал говорить скудным голосом о смерти великого, незабвенного, осёкся, заплакал, повернулся, сутулясь. Стал ещё меньше и ушёл прочь, растворился во времени. А мы слушали, понурясь, кто-то всхлипывал, кто-то в голос заплакал в унисон директору.

Но то время было уже позади. В 1962 году удалось прочесть «Один день Ивана Денисовича». Словно набат прозвучал над страной. А какое диво русского языка вдруг ожило перед нами. Я тогда почувствовал, как сродни этот голос древнерусскому звуку, и с тех пор живу с этим ощущением.

Но вернёмся к армейским годам. Служба моя — стартовым номером пусковой установки, набегался я за эти 2 года и 3 месяца на позицию, где стояли ракеты. Всего 200 миль от морской границы с Норвегией, а Норвегия — член НАТО. И вот подымается самолёт с норвежского аэродрома, берёт курс в нашу сторону, а нас будят среди ночи — обувайся, одевайся, беги, до позиции метров 200, а ракета должна быть боеготовна за 5 минут. А зимой снег, лопаты — метр на метр, — бери больше, кидай дальше.

А в сотоварищах ребятки простые. Всё начальство — от ефрейтора до комбата — украинцы, за лычку готовые тебя загонять, и никуда не денешься. А всё жизнеобеспечение — сами, на своём горбу — и уголь, и дрова, и продукты. Островок — что поделаешь. Увольнительных нет, даже на губу не отправить, на месте и отбывали всякие наказания.

Но, как и всё в жизни, прошли мои армейские годы. Взошло солнце ДМБ. 26 августа 1964 года, по ощущению, самый

счастливый день моей жизни. В этот день прилетел я из Мурманска в Ленинград, светлым чудесным утром шёл по любимому городу, и казалось мне, что снова снится сон, и не дай Бог пробужденья. Но, к счастью, это была явь.

За два с лишним года армейской мороки были и радостные просветы. В это время в 1962 году вышел сборник ленинградских поэтов «И снова зовёт вдохновенье». Там был напечатан впервые мой стих «К поэзии», откуда и была взята строчка, ставшая названием сборника. А уже на излёте службы в «Дне поэзии» Ленинграда за 1964 год появилось моё стихотворение «К музыке». Здесь помог Коля Браун, который отнёс несколько моих стихов в редакцию этого ежегодника, где сам Александр Прокофьев поставил жирную одобрительную птичку своим толстым красным карандашом на этом стихотворении (так рассказал мне потом Коля). И возвращался я почти известным поэтом, что, конечно, шутка, но радость моих была нешуточной.

Боже, как я радовался возвращению! Город, словно омытый разлукой, сверкал, сиял. Блестел передо мной. Я заново знакомился с дворцами, мостами, с могучей, вечно торопящейся куда-то Невой, с разбегающимися улицами, переулками, чьи названия звенели в душе там, на Севере среди сопок, кустарников, мхов. Всё отзывалось стихами и звало к стихам. И мне писалось, писалось.

От Невской бестолковой бучи,
Где шум, огни и толчея,
К великолепному созвучью
Колонн и неба вышел я.

Там под квадригой театральной
При свете призрачных лампад
Так по-осеннему опально
Шуршит и облетает сад.

Но кроме стихов, вокруг ещё была проза жизни, с которой надо было ой как считаться. На работу поступить было непросто. Я узнал, что в библиотеке Эрмитажа нужны работники, и конечно, помчался туда. Увы, устроиться можно было только временно, взамен болеющих сотрудников. Из Эрмитажа, по-моему, здоровые люди не увольнялись. Директором библиотеки был Матвей Александрович Гуковский, замечательный учёный, специалист по итальянскому Возрождению, много лет проведший в сталинских лагерях, родной брат литературоведа Григория Александровича Гуковского, знатока поэзии русского XVIII века.

Григорий Гуковский погиб в лагерях, Матвей Александрович, к счастью, вернулся. Маленький, очень подвижный, седой, весь какой-то игрушечный человек, он успевал всё — заведовать кафедрой в университете, председательствовать в обществе «СССР — Италия», бывать во вверенной библиотеке (не слишком часто), быть женатым на женщине вдвое моложе себя, не пропускать интересных концертов в филармонии и ещё много чего. Мне он очень нравился.

У Матвея Александровича был помощник — некто Иван Фёдорович Коробочко (на самом деле не Иван, а Авель, да и отчество приобрёл вслед за чужим именем чужое), но дело было не в этом. Человек он был неприятный, отталкивающий, к искусству отношение имел весьма приблизительное. В библиотеке я видел порой людей замечательных, среди них — Льва Николаевича Гумилёва. Он ещё до меня, сразу после лагерей какое-то время работал в библиотеке Эрмитажа, в подвале. Так вот, Лев Николаевич говаривал об упомянутом Коробочко: «Дайте мне горящую головню, я убью этого Авеля». Захаживали в библиотеку Эрмитажа многие работники музея, я слышал волнующие меня разговоры о сказочной тогда для меня Венеции, о галереях Рима, Парижа, Лондона, Мадрида. Мало было надежды в советской западне увидеть когда-нибудь всё это въяве.

Тогда был Эрмитаж. Утром часов в 9 я шёл по залам второго этажа в библиотеку, притулившуюся как-то сбоку в коридоре. Было ещё по-утреннему сумрачно, и я на ходу обменивался взглядами то с Марсом и Венерой, ведущими свой сокровенный разговор на известной картине, то с гордыми испанцами на полотнах Риберы и Веласкеса. Это всё было прекрасно, но зарплата была грошовая — 44 рубля в месяц. А время шло, больные выздоравливали, и мне пришлось уходить.

Потом я работал в институте растениеводства библиотекарем, в патентном отделе института гидротехники имени Веденеева, всё было мне не по душе, отрывало от поэзии.

В армии на островке мы совсем не видели женщин, а молодость требовала своего. Вереница необязательных знакомств — спутница любой юности.

> Вспоминаются женщины, те, с которыми был,
> Их покорная женственность, шёпот, шалости, пыл.
> Тех ночей недосказанность, та непрочность тепла,
> Та бессвязность, несвязанность, что томила и жгла.

Но вскоре я встретил Лену, и всё стало по-иному. То была обычная молодёжная вечеринка — 1 мая 1965 года. Мой приятель

Эмиль Гермер, его знакомая Матильда, его друг Володя, ещё две девушки. Встреча была у метро «Чернышевская». Невысокая черноволосая женщина с большими карими глазами с интересом посмотрела на мою соломенную шляпу, которую я сдуру надел тогда при модном болоньевом плаще. Мне даже показалось, что в глазах её сверкнула задорная искорка.

Потом танцевали и много говорили. Говорили, конечно, и о стихах. И я почувствовал некий духовный отзыв. Я пошёл провожать Лену. Мы шли до Фонтанки, где она снимала комнату, по притихшему весеннему городу, я повёл её давно облюбованным мной переулком, где дома стояли напротив друг друга так близко, что переулок казался коридором, и каблучки Лены звучали как-то особенно звонко и торопливо. Маме я сказал, что встретил красавицу и умницу, что раньше в моих приключениях как-то не совпадало.

Мы стали видеться, ей понравились мои стихи, я почувствовал необходимость этих встреч. Что ж тут долго говорить — сейчас 2012 год, мы уже 47 лет вместе, и я смело могу сказать, что та встреча в 1965 году самая важная в моей жизни, то счастье, которое не каждому выпадает. Но пожениться сразу мы не могли, бедность отодвигала то, что должно было свершиться. Всё равно мы были вместе.

Свежий ветер шестидесятых годов ещё дул в паруса страны, хотя зловещие предзнаменования давали о себе знать. Я писал стихи, которые, наверное, опасно было читать малознакомым людям, но не писать, не читать их я не мог. Друзья собирались у меня по пятницам, я читал, мы обсуждали стихи и окружающую жизнь.

Тогда я написал цикл стихов «Россия». Многие из них я и сейчас включаю в свои книги:

Кнут солёный, жаровня, дыба,
Да скрежещет перо дьяка,
И за то, знать, Руси спасибо,
Что стоит на этом века.

Что её — волчий взгляд Малюты,
Беспощадная длань Петра,
И гражданские злые смуты,
И советских казней пора.

Что сынов её — пуля-слава,
Вышка лагерная — судьба,
И приветствовала расправы

Раболепная голытьба.

Но сынам ли считать ушибы,
Им ли слёзы лить на Руси?
Ох, спасибо же ей, спасибо,
Спаси Бог её, Бог спаси.

Андрей Бабушкин говорил, что большевизм не маска на лице России, это её настоящее лицо во всей его неприглядности. Что нас ждёт в будущем — национальная рознь, политический раздрай или подлинная свобода? Тогда мы могли только догадываться. Сейчас видно, что эти догадки были недалеки от истины.

Меня почти не печатали, одно только стихотворение «Костёр» появилось в сборнике «Молодой Ленинград» за 1966 год. Мы читали взахлёб в самиздате — Солженицына, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, старых авторов — Замятина, Ремизова, «Последние стихи» Зинаиды Гиппиус, издания начала 20-х годов — Шпенглера «Закат Европы», Фрейда. Но уже шли процессы Синявского и Даниэля, Гинзбурга и Галанского. Отбывал ссылку Иосиф Бродский. При этом власть иезуитски печатала обрезанные тексты Пастернака, Цветаевой, Булгакова.

Что-то тёмное, безоговорочное близилось. Я это чувствовал. Стихи мои, казалось, предупреждали меня. Но какая молодость внемлет предупреждениям судьбы? 16 января 1969 года мы с Леной поженились. 15 апреля 1969 года в 8 утра твёрдый, продолжительный звонок в дверь нашей квартиры в Дачном разрушил не только сон её обитателей — он разрушил нашу жизнь на долгие 6 лет.

Вошедшие люди — они были тёмные и глухоголосые — заполнили комнату. «Нам нужен Анатолий Бергер». Я был нездоров тогда, накануне в поликлинике продлил бюллетень, на ночь мне делали горчичники. Я привстал на кровати. В ордере на обыск меня подозревали в сношениях с неким Мальчевским, о котором я слышал впервые. Начался обыск. Обыскивали вещи, простукивали стены. Открыли пианино и совались в переплетение его музыкальных рёбер и жил. Отца не было дома, мама, посеревшая лицом, молчала. Я поймал её взгляд — огромный и стонущий. Жена села рядом со мной на кровати, обняла за плечи. Меня снедала тревога. Я спорил с темнеющими по комнате людьми, говорил о недоразумении, о том, что детективное и дефективное недаром подобны на слух. Телефон отключили, перед тем, как пустить меня в туалет, обыскали. Мне

предложили ехать на Литейный для выяснения. Не веря ещё во всю силу несчастья, я согласился. Я даже не взял из дома денег, даже не попрощался по-настоящему с мамой и женой. Я только помахал им рукой. «Победа» повезла меня прочь от дома. Обыск продолжался.

Дорогой я смотрел на город, но не прощально, как из армейского автобуса. Я еще не верил в беду. Почему-то в сердце запело на миг горделивое сиянье. Но это было недолго.

Коридоры КГБ мало чем отличались от коридоров других учреждений, и снующие люди и хлопающие двери были, как всюду. Меня ввели в кабинет под номером десять. Допрашивал меня капитан по фамилии Кислых. И кабинет был скучен и хмур, как в любом учреждении, только на окнах чернели решётки. Меня спрашивали о друзьях, об их занятиях. Но чаще других — о Коле Брауне. Это меня внутренне задело, я что-то почуял, но так отдаленно! За эти ответы мне не стыдно. Кислых укорял меня в неоткровенности. Я заметил, что он нажимал кнопку на столе, отчего приходил другой человек на смену, в одиночестве меня не оставляли. Все вели себя по-разному. Один молчал, углубившись в бумаги. Другой — белобрысый, в модной японской куртке — вёл любовный разговор по телефону. Мне запомнилась фраза: «Галочка, я Вас категорически приветствую». Меня она сходу резанула неприятной чужеродностью. Сторожил меня и кто-то грубый с кряжистым лицом, он сказал мне: «Это тебе не в компании болтать, подвыпив». Я ему резко возражал. Я отказался сидеть за столиком у двери и сидел или лежал на плотном черном диване. В середине дня Кислых принёс стакан простокваши, стакан чая, кусок свежей колбасы и булочку. Я томился.

Я требовал отпустить меня, и шорох каждого троллейбуса воспринимал как благую весть. Я только в глубине сердца думал о своих тетрадях в письменном столе, и они словно бы давили на меня своей тяжестью. Но я не верил, что их тяжесть утянет меня на дно. Я ещё надеялся. А сторожа менялись всё чаще. Я устал, я у каждого из них спрашивал, скоро ли меня отпустят. И они уныло обнадёживали меня, а я всё прислушивался к шороху троллейбусов, к рокоту проводов за окном. Приближалась ночь, и я мечтал уже попасть домой хотя бы к двенадцати часам. Я представлял волнение родных и главное — я всё надеялся, я не мог оставить надежду. Как наивно всё это было!

Молодой следователь при мне принёс мешок с чьими-то рукописями. Они тряслись в мешке, как живые. Он бросил свой улов в шкаф. Вид у него был довольный, как у ловкого рыбака. Я чувствовал, что происходит тёмное и постыдное — и здесь, и со

мной, и рядом. И всё равно надеялся.

Наконец, без двадцати двенадцать меня завели в какую-то комнату, и Кислых сразу предъявил мне 70-ю статью. Строки этой статьи об изготовлении и хранении оглушили меня, как взрывная волна. Едва я дочитал их, за спиной моей послышался топот сапог и стук прикладов. Я увидел двух солдат с карабинами. Это было уже безоговорочно страшно. Я понял, что час мой пробил. Меня повели в тюрьму.

Следователи менялись вначале каждый день. Одни были вкрадчивы, другие резковаты.

В конце концов, мною занялся Алексей Иванович Лесников. Меня стали водить в кабинет № 6. Он был неплохой психолог, этот Алексей Иванович. Заметив мою тоску по родным, он при мне звонил им домой раз в неделю (по вторникам). Я жил этими звонками. Казалось, телефонные провода сплетены из моих жил.

А время шло. Менялись напарники. Гораздо позже я написал рассказ «12 сокамерников». Впервые он был опубликован в журнале «Знамя» в 1997 году.

20 ноября начался суд. Суд был, конечно, закрытый. Разрешили присутствовать только родным. В зале маячили какие-то чужие смутные фигуры в штатском. Я смотрел на моих близких, не отрываясь. Они держались крепко. И тем острее пронзила меня их мука. По тёмной бледности лиц, по горести глаз видно было, сколько они пережили. Чтобы наказать нас жёстче, к нам с Брауном подключили группу уголовников. Их возглавлял Мальчевский, которому заодно инкриминировалось несколько разговоров с Брауном. О них он разболтал в камере, где к нему подсаживали провокаторов («наседок» — по-тюремному). Он передавал им даже записки, и несколько фраз из этих записок тоже ставилось ему в вину.

Я, наконец, стал понимать происходящее. Суд был продолжением следствия — это было ясно. Адвокаты ютились за своим столом, как бедные родственники. Судья Исакова резко на них покрикивала. К прокурорше же она обращалась любезно и милостиво. Меня и Брауна выслушивала сухо и сурово, а уголовников слушала порой по-бабьи, опершись подбородком о запястье. Глаза её, узко взиравшие на нас двоих, тогда округлялись. Два заседателя таскали тома дела на судейский стол и внимали всему происходящему, как усердные ученики. Мы с Брауном уже знали, что обречены. Я видел по нему, что и его надежды рушатся, и в душу его проникает отчаяние. Но что было делать? Дамоклов меч уже врезался в наши судьбы.

Тем не менее, приговор поразил. Брауну дали семь лет лагеря и три ссылки, мне четыре года лагеря и два года ссылки. Уголовникам — меньше. Потрясённость тех мгновений я и сейчас слышу в себе. Суд застыл, прокурорша стояла, как пионерка, солдаты напоминали памятники. Родные и друзья с опущенными головами стояли все рядом, и я ощущал, как бьёт по ним каждое слово. Когда произносили мой срок, жена закинула голову и закрыла глаза, словно темнота этих грядущих тюремных лет застила ей свет.

В тюрьме я почти не писал стихов. Когда нет неба, мне не пишется. Но вот одно. Оно посвящено жене:

Лене

Вышла замуж за тюрьму
Да за лагерные вышки —
Будешь знать не понаслышке,
Что и как, и почему.

И в бессоннице глухой,
В одинокой злой постели
Ты представишь и метели,
И бараки, и конвой.
Век двадцатый — на мороз
Марш с киркой, поэт гонимый!
Годы «строгого режима» —
Слово против — дуло в нос.

Но не бойся — то и честь,
И положено поэту
Вынести судьбину эту,
Коль в строке бессмертье есть.

Только жаль мне слёз твоих
И невыносимой боли
От разлучной той недоли,
От того, что жребий лих.

1970,

тюрьма КГБ, Литейный, 4

11 апреля 1970 года, почти через год после ареста меня отправили в лагерь. И началось моё знакомство с этим неведомым мне миром. И первое, что я увидел — Россию. Да, я заглянул ей прямо в лицо, глаза в глаза. По тропкам и дорожкам лагеря вдоль вышек и заборов бродили осколки двадцатых годов — седовласые, седоусые старики ковыляли, налегая на палку или костыль. Около них топтались виденья годов тридцатых — потемней волосом, покрепче шагом. И шмыгали тут и там тени годов 40-х — половчей ухваткой, похищней взглядом. Была в лагере и молодежь светлая, и те старики, которых лагерь не сумел покорить. Но обо всём этом — о тюрьме, сокамерниках, лагере, этапе я рассказал в своих книгах, рассказах — «Смерть

живьём». 1991 год, сибирские рассказы — журнал «Звезда», 1994 год, «12 сокамерников», журнал «Знамя» 1997 год, и в изданной вместе с женой — Еленой Фроловой книге «Состав преступления», 2011 год. Здесь же мне хочется привести стихотворение, которое вобрало в себя всю мою жизнь тех лет:

В проходе тёмном лампочка сочится,
И койки двухэтажные торчат.
Усталого дыханья смутный чад,
Солдатские замаянные лица.
То вздох, то храп, то стон, то тишина.
Вдруг скрежет двери — входит старшина:
«Дивизион — подъём». И вмиг с размаху
Слетают в сапоги. Ремни скрипят.
Но двое-трое трёхгодичных спят,
А молодёжь старается со страху.
«Бегом!» Глухое утро. Неба дрожь.
О, время, ну когда же ты пройдёшь!
И словно мановеньем чародея, прошло.

Решётка, нары и в углу
Параша. Снова лампочка сквозь мглу,
А за оконцем вышки. Боже, где я?
Заборы, лай, тулупы да штыки.
Шлифуй футляры, умирай с тоски.
Кругом разноязыкая неволя,
Я на семнадцатом, на третьем — Коля.
А ты, Россия, ты-то на каком?
А, может, ты на вышке со штыком?
Когда ж домой? Спаси, помилуй, Боже!
Вернулся. Долгожданная пора.
Но не могу сегодня от вчера
Я отличить никак. Одно и то же.

1986

19 дней этапа — недаром считается тут день за три. Через страну, от пересылки к пересылке. Из Мордовии в Сибирь, в посёлок Курагино. Ссылка.

«Как мы с Гришей (он сидел за украинский национализм — мы с ним в конце этапа встретились) блуждали в первый день по Курагино, — тяжёлая память. Заборы, избы, в сенях темно, на стук старуха в платке и душегрейке: «Нет, не надо, не сдаём, не знаю». И вслед длинный взгляд опасливо-недоверчивый, выйдет

на крыльцо и глядит, как уходим. Одна изба, другая, третья, четвёртая. Попросили воды: «Идите, идите, некогда с вами, колодец в огороде, далеко ходить». Вот тебе и хвалёное гостеприимство русского народа — воды пожалели. Позже слышал я в деревнях поглуше — «теперь не война, и хлеба не жалко, а уж воды да соли — подавно, их и жалеть нельзя — грех». Но я тогда не в заплатанном шёл с мешком за плечами.

Но вот опять изба — хозяйка востроглазая, тонким голосом — «А вы ссыльные будете?» — «Ссыльные, ссыльные, как узнали?» — «Да уж узнала. Проходите во двор, скоро муж приедет, он шофёр на автобусе». А из двери девчоночье лицо испуганное выглядывает — как у матери, востренькое. И ещё девочка промелькнула во дворе — поменьше. «Сколько же у вас дочек?» — «Шестеро — от 6 до 19, все, слава Богу, с нами. Мы немцы. Мы сами на выселке с войны ещё».

Подрулил автобус, большой мужчина, переваливаясь по-медвежьи, вошёл в калитку, по-немецки заговорил с женой, она ему из бидона поливала, — отфыркиваясь, мылся. Подошёл к нам. «Здравствуйте, — рука крупная, тяжёлая, наработанная, — Якоб, а это моя жена Фрида, проходите в дом». Так мы с Гришей, под вечер уже, отчаявшись найти ночлег, набрели в русской Сибири на немецкий добрый кров. Огромную сковородку картошки подала нам Фрида, шипело и поигрывало сало среди сладко пахнущей румянисто-белой картошки — пальчики оближешь — это после тюремного-то! Гриша мне шепнул — несколько картошек не доесть надо, так у лютеран принято. Как ни жалко было, а пришлось оставить пару кусочков. Много позже Фрида сказала как-то: «Нам когда гость не доест — обидно очень». Ох, Гриша, Гриша, всё-то он знал, на всё накладывал печать своего превосходства.

Постелили нам в комнате Якоба — на полу разостлали шубу мохнатую, ватники. А сверху чистые простыни, подушки, одеяла — честь-честью. Два зэка с улицы, а за стеной девчонки спят — Наташа, ей лет 19, словно из сказки братьев Гримм, темноглазая, милая, приветливая, с кокетливой молодой угловатостью стулья нам подставляла всё, когда за стол садились; Оля — высокая, блондинистая, в очках, на год моложе Наташи, умная, себе на уме, в родном доме не загостится; а за ними поменьше народец: Лида (эта та, которую увидел из-за дверей выглядывающей) — трудолюбивая, мамина дочка, Катя — с женским уже приглядцем на красивое и модное, Маша — сорванец, худышка, непутёвая душа, и Аля шести лет, ласковая, добрая, тоже из сказки, большеглазая, папин мизинчик, последышек, не хотел её папа Якоб, а теперь полюбил, с колен не спускает. От этой семьи за два

сибирских года видел я добра и тепла — на всю жизнь хватит».

Через несколько дней Якоб и Фрида помогли мне снять комнату в избе у одинокой хозяйки. Очень скоро я и работу нашёл — устроился грузчиком в сельпо. Работа эта мне даже нравилась. Мужское всё-таки занятие.

Через месяц ко мне из Петербурга приехала Лена. Жизнь кое-как налаживалась. Но пришла зима. Работа грузчика сельпо — это работа на улице. Дал о себе знать давний мой спондилёз. Пришлось уйти. Помочь с устройством на новую работу никто из надзирающего начальства не собирался. Пришлось жаловаться в Москву, в ЦК — пусть помогают с трудоустройством, соблюдают хоть собственные законы. В конце концов, мне предложили место страхового агента — ездить по дальним сибирским деревушкам, страховать людей, их имущество, скотину, дома. Так до конца ссылки я этим и занимался.

Как ни странно, но Сибирь мы с Леной полюбили. Вот стихотворение — воспоминание о Сибири:

А Курагино моё всё в снегу,
А Туба моя недвижна, бела,
Жёсткий холод её взял на бегу
Под уздцы, с тех пор стоит, замерла.

И заснежен вдалеке березняк,
В нём с коровами не бродит пастух,
Вороньё там о каких-то вестях,
Знай, раскаркалось, летит во весь дух.

А Курагино моё далеко,
Сам не знаю, доберусь ли когда.
Вспоминать сегодня сладко, легко,
А была ведь это ссылка, беда.

Вернулись мы с Леной домой, в Ленинград 7 декабря 1974 года. День был тёмный, как всегда в Ленинграде в декабре, но мы радовались. Первые недели просто глядели вокруг, заново узнавая на годы потерянный город.

Но вернулся я не только к родителям, к друзьям. Большой Дом высился на своём месте, и его хозяева тоже никуда не делись. Их злобную руку я почувствовал сразу, когда пришлось восстанавливать прописку. Мы пришли с папой в ЖАКТ, и мне пытались отказать. В конце концов, прописали временно, на год. Меня — покинувшего родной город по чужой воле, насильственно. Я попытался получить свой приговор — не дали.

Словно боялись чего-то. Надо было устраиваться на работу. Опять старая история — везде от ворот поворот. Снова пришлось писать в Москву, требовать соблюдения существующих законов. После месяцев ожидания, нервотрепки наконец, получил я место экспедитора на канцелярском складе на Социалистической улице, близко от 321-й школы, весьма мне знакомой.

Работа грошовая. Сидели мы в подвале, я ездил за товаром, заказывал контейнеры в Шушарах, общался с грузчиками, шофёрами, видел, как ловчили работники склада. Одно радовало — кроме канцелярии, привозили к нам и хорошие книги, которые всё советское время были дефицитом. Я, естественно, доставал новинки поэзии, да и не только поэзии.

Стихи не оставляли меня, а вот друзей стало меньше. Коля Браун был ещё в лагере, Андрей Бабушкин тяжко и безвозвратно спивался. Он после всей этой истории потерял работу, диссертацию ему зарубили, на литературе он поставил крест. Где-то работал прорабом, свою ценную библиотеку продавал. Ещё одна жертва власти, помыкавшей нами. Оставался Витя Стукин, верный друг, мужественно проявивший себя во время моего процесса.

У Лены среди её подружек по театральному институту была милая умная женщина — Марина Тимченко. Она несколько раз провожала Лену на суд, однажды видела меня, когда из «воронка» вели конвойные. У Марины был друг — талантливый учёный-физик Леонид Рикенглаз. Мне кажется, учёные России, лучший из которых Андрей Дмитриевич Сахаров, были в то время главным противовесом невежественному, самонадеянному режиму. На свою беду, он вырастил их, думая милитаристским своим умом, что они-то его опора, а вышло не так. Лёня был один из таких физиков-лириков, по слову Бориса Слуцкого. Он любил поэзию, литературу, искусство, особенно историю. Мы сразу подружились. Это было так важно для меня в моём тогдашнем безлюдьи. Наши разговоры о судьбах страны, мира, искусства, о моих стихах, прозе помогали держаться на плаву.

В Москве жили две замечательные подруги Лены — Света и Ляля (на самом деле звали её Лена, но так уж повелось — Ляля и Ляля). Умные, привлекательные женщины, они и между собой дружили, и когда я вернулся, приняли меня в свой круг. Света особенно любила поэзию, знала некоторых московских поэтов. В Москве мы всегда были желанными гостями.

Моя Лена старалась вытащить меня из моего поэтического одиночества. Не очень-то это удавалось — такова уж, видно, моя природа, воистину по Тютчеву: «Молчи, и бойся, и таи…» Но всё же порой что-то получалось. Однажды она уговорила меня вот

так, прямо с улицы, без звонка зайти к литературному критику Бенедикту Сарнову, которого мы знали только по его статьям и выступлениям. Надо отдать ему должное, он принял нас, незнакомых людей, несколько часов разговаривал с нами, читал мои стихи. Это был человек среднего роста в крупных очках, во всём его облике сквозила какая-то уверенность интеллекта. Твёрдость его суждений убеждала. Он обещал помочь в печатаньи моих стихов, предупредив, что в редакции журналов не вхож. Прощаясь, он сказал: «Ваши стихи — это порода, в которой много золота. Есть и шлак, но он есть и у великих. Вы будете писать всё лучше и лучше, но печатать Вас не будут во многом и по этой причине. Я смотрю на моего друга Олега Чухонцева и вижу, что его постигает такая судьба. Но писать Вы будете всё равно». Мы с Леной храним благодарные воспоминания об этой встрече.

В 1990 году, когда в Москве вышла моя первая книга стихов «Подсудимые песни», я послал её Сарнову, но, увы, ответа не дождался. Впрочем, и на том, что было — спасибо.

Вообще за эти годы в моём поэтическом становлении много чего произошло. Ещё в юности Коля Браун открыл мне поэзию Владислава Ходасевича, и тот стал самым моим поэтом. Конечно, мне нравились многие лирические стихи Евтушенко, Ахмадуллиной, мало что Вознесенского. Доходили до нас и какие-то строки Бродского. Открылось чудо поздних стихов Пастернака. Я почувствовал, что линия Ходасевича, позднего Пастернака — моя, и что с этой дороги я не сверну. Разумеется, я читал и Арсения Тарковского, восхищался его отличным русским языком, умелой лёгкостью, что-то нравилось у Самойлова, у Юнны Мориц, у того же Чухонцева. А с печатаньем совсем не получалось. Журналы меня отвергали, а о книжке стихов и речи не шло.

Кто-то в Ленинграде посоветовал мне показаться поэтессе Наталье Грудининой, которая помогала Бродскому, защищала его. Наталья Иосифовна — женщина чудесная, поэтическая детскость уживалась в ней с острым умом провидца, мужество и сильный характер с подлинной честностью и добрым отношением к людям, что дано совместить немногим. Ей нравились мои стихи, она говорила: «Ты вдохновенный поэт, твои книги нужны читателям, но не нужны издателям, поэтому напечататься тебе трудно. Для русских ты еврей, который пишет о России лучше их и чувствует её глубже, значит, особенно неприемлем. Для евреев ты слишком русский в стихах, и поэтому тоже неприемлем. Такая у тебя судьба».

Я часто бывал у неё на улице Замшина, читал ей стихи, оставлял рукописи. Часто мы разговаривали, пили чай, рядом

примащивался пудель, уже немолодой, умный и независимый, видно, набрался ума у хозяйки. Тут же бродила и кошка. Весьма свободная в обращении. Впрыгивающая на диван, порой и на рукописи, что впрочем, ей дозволялось как существу, не чуждому поэзии. Много лет бывал я в этом добром доме, и всегда буду помнить о Наталье Иосифовне Грудининой — настоящем поэте, благородном чистом человеке. В конце 90-х её не стало, и на похоронах её душа моя пустела от безнадёжности и тоски.

В 1982 году всё-таки были напечатаны два моих сибирских стихотворения при содействии Якова Гордина, которого я знавал ещё в 50-х годах (он тоже захаживал в газету «Смена»). Это был альманах «Сибирь». Там в редакционной коллегии значился Валентин Распутин, чей огромный талант я сразу оценил по первым же его повестям и рассказам.

К тому времени я уже работал в библиотеке Горного института, куда мне помог устроиться Леонид Рикенглаз. Я по-прежнему не любил библиотечную работу, но, увы, выбора не было, пришлось пойти. Лёня сам работал в Горном, и мы там часто виделись, это было некоторым утешением.

Семидесятые годы кончились тяжело. 15 апреля 1979 года от рака печени умер мой отец. Сильный человек, он слабел последние годы перед кончиной. То, что случилось со мной, ударило его беспощадно. Умер он день в день через 10 лет после моей посадки.

В том же 1979 году КГБ снова дохнул на меня своим ядовитым смрадным огнём. За пару лет до этого одна из товарок Лены по театральному институту Ира Баскина эмигрировала во Францию и скоро оттуда стала с оказией пересылать нам книги, я получил «Некрополь» Ходасевича. Но почуяв воздух свободы, Ира как-то подзабыла, откуда уехала. Она посылала книги тем, кто этого боялся, не хотел. Сокурсник Лены Аркадий Соколов, незадолго до всей этой истории женившийся на известной балерине Габриэле Комлевой, был как раз из самых нехотевших. Ополоумев от страха, он побежал с посылкой от Иры к институтскому особисту, а тот передал крамольные книги и письма в Большой Дом. Адресатов Иры стали таскать на допросы. Не знаю уж, что говорили там некоторые сокурсники Лены, но в их компании царили страх и растерянность. Мужественно вели себя единицы, среди них Аля Яровая, которая после моего ареста прятала у себя перепечатки моих стихов, и Тамара Владиславовна Петкевич, сама проведшая долгие годы в сталинских лагерях и ссылке, женщина героическая, описавшая свои страдания в талантливых книгах — «Жизнь — сапожок непарный» и «На фоне звёзд и страха», вышедших в 90-е и 2000-е годы. Предатель

Аркадий Соколов, когда Марина Тимченко спросила у него, почему он так поступил, ответил: «Элла (Габриэла Комлева) должна танцевать, поэтому я взял на себя этот крест». Все, конечно, подивились очередному выверту психологии очередного Иуды. К чести сокурсников Лены, они вычеркнули его из своих рядов.

Меня вызывали в КГБ, правда, не на Литейный, а где-то недалеко от военкомата, откуда меня призвали. Допрашивали меня двое, как у них принято — «добрый» и злой. Тут придётся сделать небольшое отступление. Когда Ира Баскина уезжала, мы с Леной дали ей на сохранение мои тюремно-лагерно-ссыльные воспоминания, подчёркиваю — на сохранение. Она же, ничтоже сумняшеся, выбрала из этой рукописи «Этап», где я описал 19 дней этапа из Мордовии в Сибирь, в посёлок Курагино, и отдала его в альманах «Эхо» Марамзину, который и напечатал этот материал под псевдонимом Горный. Угадать, кто автор, было легче лёгкого. Гэбэшники считали, что я у них в кармане. Но я уже знал, как себя вести. 5 часов они упорно уговаривали меня признать авторство, а я на голубом глазу уверял, что я ничего не посылал, а рассказывал знакомым, да, рассказывал, но я ведь подписку о неразглашении не давал, а они, знакомые, без моего разрешения написали с моих слов и тиснули в печать. В конце концов, гэбэшники сказали: «Да, вы человек опытный, но если что появится на Западе ещё — посадим». Рукопись моих стихов лежала у наших друзей — поэта Игоря Бурихина и его жены Елены Варгафтик, и Игорь готовил её к печати в парижском издательстве «Третья волна». Стихи были подобраны совсем неполитические, но мы понимали, что КГБ найдёт и в них криминал. Пришлось дать отбой. И стихов моих Запад тогда не увидел. Вот к чему привела подлость Аркадия Соколова и самонадеянность Иры Баскиной. Чисто российская история.

Подступали восьмидесятые годы. Всё было темно и безнадежно. Брежнев — маразматик на троне шамкал и чмокал свои мёртвые слова с трибун, советские войска ворвались в Афганистан, началась новая позорная война коммунистов против очередной жертвы. Люди шли в лагеря, боролись за выезд из СССР, и света в конце туннеля не было видно.

Никто не ждал перемен, никто не ожидал того, что случилось уже вскоре, через несколько лет, но как же долго, томительно тянулись эти несколько лет… После хоровода генсековских похорон, когда за Брежневым последовал Андропов — гроза диссидентов и вообще всех мыслящих людей, которых коммунисты называли «инакомыслящими», а за Андроповым Черненко, живой труп, бледнолицый, еле передвигающийся по земле куклоподобный человек, у власти вдруг оказался Михаил Горбачёв, которого я давно уже приметил в телевизионном окошке и даже говорил Лене, что у него есть какая-то энергетика, и он и станет новым генсеком. Так и вышло. Сначала мы и от него ничего не ждали, разве что не был он похож на торопливого кандидата на кладбище у кремлёвской стены. Люди жили своей привычной советской жизнью, добывали всяческий «дефицит», сходились, расходились, часами простаивали в курилках своих НИИ.

Наталья Иосифовна познакомила меня с кем-то из поэтов, участником Клуба 81. Там были талантливые, интересные люди — Юрий Колкер, Сергей Стратановский, Елена Игнатова, Виктор Кривулин, Олег Охапкин. Я стал посещать их посиделки, некоторым из них дал свои стихи, читал их произведения. На фоне скучной статичной советской поэзии их строки казались целебным снадобьем. Мне это было в какой-то степени близко,

ведь ещё в шестидесятые годы мы с Колей Брауном мечтали (цитирую сам себя): «Вернуть России русскую поэзию. Вернуть русской поэзии Россию». Особенно близок мне был Юра Колкер и как поэт, и как серьёзный специалист по Ходасевичу, выпустивший вскоре в самиздате двухтомник его стихов и переводов с прекрасным предисловием и живыми примечаниями. Юра превосходно чувствовал поэзию, умел разобрать стихотворение по косточкам, указать малейшую неточность образа, звуковой стык, неуклюжий оборот. Я не страдаю психозом авторства, его замечания были мне ценны. Мне нравилась его семья — жена Таня, маленькая дочка Лиза. Они жили в коммунальной квартире на улице Воинова (теперь Шпалерная). В комнате Юры прошла первая в России конференция, посвященная Владиславу Ходасевичу. Я после Юры выступил на ней с докладом.

Но вскоре Юра с семьёй эмигрировал в Израиль, оттуда в Англию, где теперь и живёт. Через много лет мы с Леной побывали у них в гостях в Лондоне. Я рад, что наша дружба сохранилась.

В 1985 году Горбачёв вдруг заговорил о гласности, о перестройке, и медленно-медленно что-то зашевелилось, забрезжили надежды, мелкими шажками Россия (тогда ещё СССР) попробовала двинуться вперёд. Но слова о гласности, о социальной справедливости прозвучали.

В том же 1985 году в «Дне поэзии» Ленинграда появились мои стихи, тут посодействовал мой родственник Лев Дворецкий, сам пишущий стихи и интересовавшийся поэзией. Наталья Иосифовна познакомила меня с поэтом Семёном Ботвинником, который слышал обо мне от замечательной пары литературоведов Анны Владимировны и Григория Евсеевича Тамарченко. Анна Владимировна преподавала в театральном институте, Лена у неё училась. Стихи мои эти люди знали и ценили, а с Ботвинником они дружили. Уже в 1986, 87-м, а затем в 89-м стихи мои стали появляться в «Днях поэзии» Ленинграда. Добрым словом хочется помянуть поэтов Леонида Агеева, Глеба Семёнова и конечно, Семёна Ботвинника. Все они старались мне помочь.

В 1989 году я ушёл из Горного института и стал директором филиала Всесоюзного гуманитарного фонда имени А.С.Пушкина в Ленинграде. Правда, директорствовал я над самим собой, я должен был издавать книги фонда, и первыми книгами москвичи предложили мои. Так в 1990 году московское издательство «Прометей» выпустило мои «Подсудимые песни», а в 1991 году Библиотека газеты «Гуманитарный фонд» — «Смерть живьём» — воспоминания о тюрьме, этапе, ссылке. Книги шли нарасхват. Это

были краткие дни моей славы, которые так же быстро кончились, как и начались. С Гайдаровскими реформами и общим обнищанием людей интерес к лагерной теме ослабел и больше уже на ту высоту, что была в конце восьмидесятых и начале девяностых, не подымался.

В 1991 году в журнале «Кругозор» Александр Лаврин, московский поэт и прозаик, поместил подборку моих стихов со своим сопроводительным словом. А познакомились мы с Сашей случайно, году в 87-м бродили мы по Москве со Светой Гурвич, подругой Лены, о которой я уже говорил, проходили мимо редакции журнала «Юность», и Светка возьми и затащи меня в редакцию, где Саша сидел «на стихах». Он прочёл мою подборку, которая, к счастью была при мне, стихи ему понравились. Мы познакомились. Напечататься не удалось, зато удалось подружиться. Саша — человек удивительный. В детстве он перенёс тяжёлую болезнь, но его мужеству, энергии, силе духа можно было позавидовать. Его стихи и проза были великолепны. Да и образован он был по-настоящему в отличие от многих поэтов и литераторов.

В конце восьмидесятых мои стихи попали к поэту Владимиру Леоновичу. Он пригласил меня в Москву на вечер, где выступали Владимир Корнилов, стихи которого я любил, Борис Чичибабин, Ольга Постникова и другие. Это было в Доме культуры где-то на окраине Москвы. Полный зал, восторженная публика. Я читал с эстрады впервые, волновался ужасно, но всё-таки прочёл вроде бы хорошо, каждый мой стих награждался аплодисментами. Вскоре мы с Леной побывали в гостях у Владимира Леоновича. Тогда трудно было с водкой, стояли огромные очереди, но у нас поллитровка имелась. Лена сказала, что нехорошо на первую встречу идти с водкой, мы взяли шампанское. Когда пришли к Леоновичам, он тоже выставил шампанское, а на столе стояли маринованные грибы, кислая капуста, огурчики, селёдка. Выяснилось, что Володя всю Москву обегал, но водки не достал. Пришлось нам, поругивая Лену, пить шампанское с водочной закуской. Это впрочем, не помешало доброму знакомству. Кстати, и работе в гуманитарном фонде я обязан Володе. Он вообще был человек замечательный. Встретил нас он в валенках (ноги у него болели), вся мебель была сделана своими руками. И стихи его были под стать ему — добротными, крепкими, русскими.

Случилось мне поговорить и с Владимиром Корниловым. Ему понравилось то, что я пишу. Он сказал, что в Москве я давно бы стал известным, а в Ленинграде ходу не будет. Но я это знал, да что толку?

В 1990 году я был реабилитирован за «отсутствием состава

преступления». Шесть лет моего отсутствия в нормальной жизни по причине отсутствия состава… Такова была ещё совсем недавняя советская жизнь.

Но начиналась жизнь новая, для России почти небывалая. Только в 1917 году 10 месяцев свободы можно припомнить, а сменились они деспотизмом таким, что только монгольское иго средневековья приходит на ум. Я начал борьбу за возвращение моего архива, отнятого у меня КГБ в 1969 году. Помогал мне в этом мой адвокат тех давних дней Семён Александрович Хейфец. Уж как уворачивался КГБ, какие жалкие лживые отписки я получал за подписью начальствующего Черкесова, но всё-таки добился своего. Председатель городского суда Санкт-Петербурга (какое счастье было, когда городу вернули исконное славное имя!), так вот председатель горсуда Лебедев просто мне сказал: «Они в КГБ Вам лгут. Архив Ваш у них».

И тут как раз на смену Черкесову пришёл Степашин. Архив мне вернули в 1992 году с любезностями и расшаркиваниями. Я всё спрашивал, где же мой следователь Алексей Иванович Лесников, но ответа не получил. К прочим подлостям этого ведомства прибавилась ещё одна мелкая гадость. Лесников присвоил мою книгу (она ещё тогда ему понравилась — он этого и не скрывал) «Язык революционной эпохи» Селищева, замечательного языковеда, 1928 года издания — любопытно, что издана она была издательством «Работник просвещения». Лесников подсунул мне какой-то список машинописных материалов, чтобы я расписался, что мне это не нужно. Они, действительно, были мне не нужны, я подписался. А Лесников

позже вписал в этот список книгу Селищева — вот и вся недолга. Элементарное мошенничество вполне в духе ведомства и той эпохи. Позже мой приятель известный библиограф Николай Петрович Кошелев подарил мне свой экземпляр Селищева, за что век останусь ему благодарным. В том же 1992 году меня приняли в Санкт-Петербургский Союз писателей.

Время удивляло. Уже позади было выступление ГКЧП и его крушение. Во главе России уже стоял Борис Николаевич Ельцин. Поистине сказочные дни, в них сейчас и не верится. Пал, наконец, мертворождённый коммунистический режим. Мы впервые были едины с властью, впервые радовались, что живём в России. Мы ходили на демонстрации, стояли на Дворцовой площади, слушали выступления Анатолия Собчака и других новых руководителей, мы смотрели телевизор без отвращения, покупали книги, о которых мечтали годами. В начале 90-х прозвучало не меньше 10 радиопередач обо мне, выходили материалы и статьи в газетах Петербурга, Москвы, Нью-Йорка, Парижа. Я приношу благодарность их авторам, особенно Якову Гордину, Льву Сидоровскому, Николаю Горячкину, Сергею Стратановскому. Мои стихи и проза были напечатаны в журналах: «Нева» (там впервые появилось инкриминированное мне стихотворение «Памяти Николая Клюева»), «Звезда», «Знамя», выходили мои книги, правда, малыми тиражами. В знаменитую евтушенковскую антологию «Строфы века» вошло моё стихотворение, также из инкриминированных, «Народовольческую дурь». Сейчас другое время, сейчас недоумки кричат о лихих девяностых, но мы с женой никогда не скажем дурного слова о том славном десятилетии настоящей свободы в России, хотя и жилось нелегко и многое возмущало, но мы понимали причины происходящего, а понимание дорогого стоит.

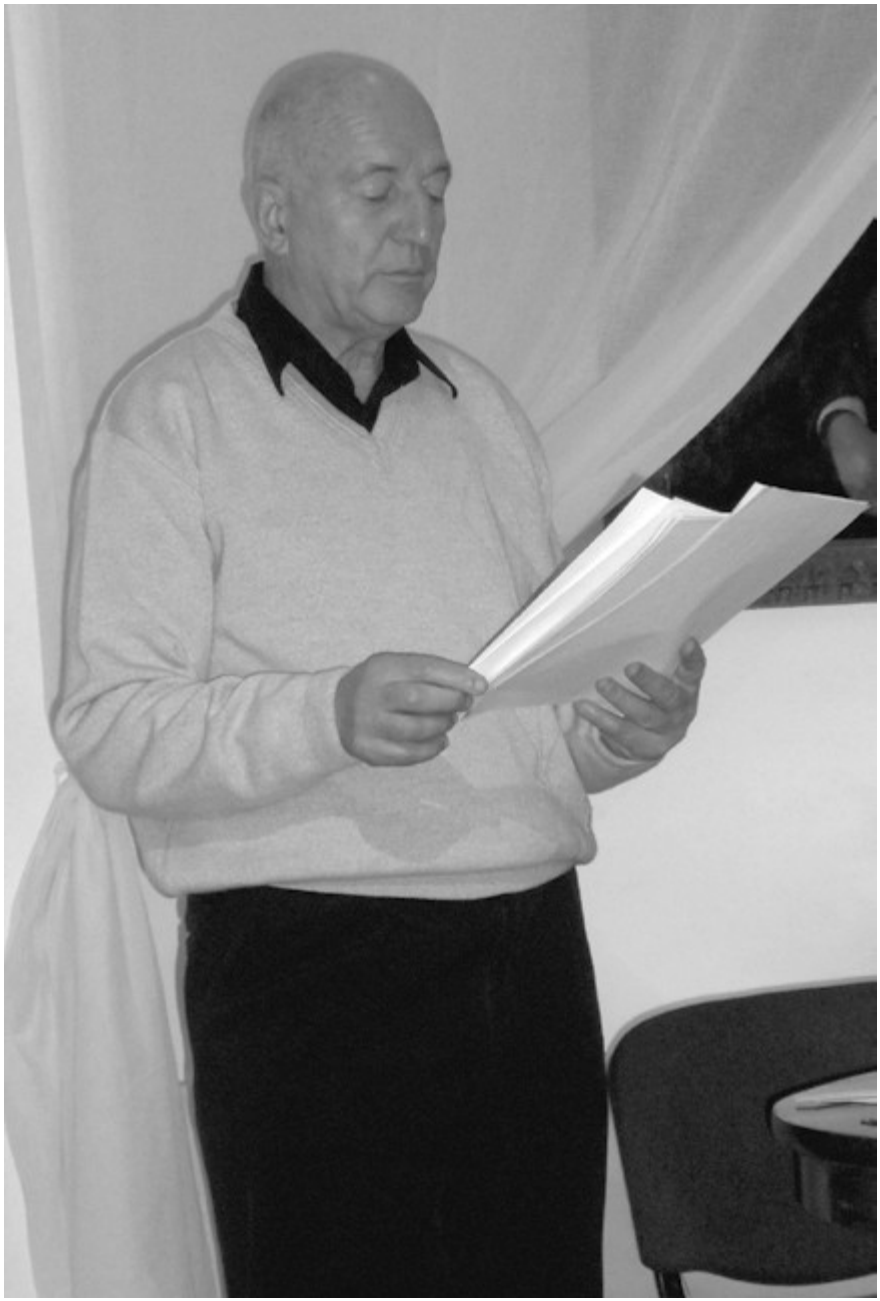
Под эгидой гуманитарного фонда мы с Леной в девяностые годы организовали салон в помещении Театрального музея, в кабинете директора императорских театров. Здесь выступали ученые, писатели, поэты Петербурга и Москвы, здесь обсуждалось то, что вчера ещё было под запретом. Здесь прошли и презентации моих первых книг.

Новое тысячелетие началось для меня ужасно. 21 марта 2001 года умерла моя мама. Я любил её больше всех существ на земле, любил с первого мгновения моей жизни на земле до последнего мгновения её жизни. Она не дожила до 93 лет двух недель, всё понимала до самого конца. Доконала её ещё с юности мучившая лёгочная болезнь. Мы с Леной всё время были с ней. В последний день она сказала нам: «Спасибо вам за годы, прожитые вместе». Мне и сейчас больно вспоминать, а тогда я совсем погибал, пил

успокоительные капли. Не мог писать. Лена увезла меня в Новгород Великий на несколько дней, там, среди русской старины я немного начал приходить в себя. Но ведь смерть близких — это рана незаживающая.

Да и вокруг становилось всё мрачней. Ельцин ушёл, передав власть Путину. Этот человек из бывших гэбистов быстро показал свою суть. Первым делом он вернул старый сталинский гимн, пахнущий кровью и лагерными бараками. В стране повеяло реакцией. Но большинство людей в России всегда верят властям, как бы они ни подличали и ни лгали. Я уже несколько лет был на пенсии. Книги мои выходили мизерными тиражами, но это помогало духовно держаться на плаву.

В 1994 году моя книжка стихов «Стрельна» вышла в издательстве «Интерстартсервис». Руководили им муж и жена — Владимир Борухович и Татьяна Ивановна. Они пригласили меня работать у них, а именно подготавливать для печати книги по моему выбору.



Я тогда занялся сборником Тютчева, где кроме стихов были его статьи, а также, наконец, воплотил свою мечту — подготовил к печати книгу «Современники о Владиславе Ходасевиче». Два года я собирал материалы, написал предисловие, комментарии и примечания. В России такого сборника ещё не было, да и до сего дня нет. Работа меня радовала, но времена были неустойчивые,

вскоре Владимир Борухович и Таня прогорели и бежали в Израиль, спасаясь от кредиторов. Меня, да и других сотрудников они не предупредили, всё вышло очень быстро, и потом было нелегко получить назад трудовую книжку. Всё-таки я на них зла не держу, за многое им благодарен. И притом, рукопись книги о Ходасевиче осталась у меня на руках. Но только в начале двухтысячных я нашёл издателя. Это был руководитель издательства «Алетейя» Савкин, выпускник философского факультета Ленинградского университета. И хотя Савкин почти ничего не заплатил мне, откупившись парой десятков экземпляров, всё же книга была издана и раскуплена не только в Петербурге, но и в Москве, и даже, как мне говорили, за границей.

В 2003 году стукнуло мне 65 лет, и вдруг звонит нам подруга Лены Аля Яровая и сообщает, что обо мне будет передача по радио. Мы даже не поверили, поскольку никто к нам не обращался, никто не предупреждал о передаче. Но оказалось, что в связи с моим юбилеем незнакомый мне тогда Георгий Сергеевич Васюточкин, постоянный автор передачи «Петербургский автограф», давно собиравший материалы обо мне, посвятил мне своё выступление.

Мы с Леной очень обрадовались, начали искать Васюточкина и вскоре нашли. Невысокий, изящный человек с какой-то старинной дворянской повадкой в движениях, негромким, но убедительным голосом, внимательным взглядом нам сразу понравился. При встрече он сказал, что я первый автор, который нашёл его и поблагодарил за передачу. Георгий Сергеевич поистине удивлял. Профессиональный геофизик, известный специалист по джазу, вдумчивый теоретик стиха, глубокий знаток русской поэзии. Нас многое сблизило. Любовь к Ходасевичу, да и к другим поэтам серебряного века, в том числе не самым знаменитым, но замечательным — к Бенедикту Лившицу, например. Радует меня и его понимание моей поэзии и то, что несколько передач «Петербургского автографа» были обо мне. Ведущая этой передачи Ольга Леонидовна Смирнова, милая симпатичная женщина, мне кажется, тоже оценила мои стихи.

В Союзе писателей у меня появились друзья — Илья Петрович Штемлер, настоящий писатель и очень хороший человек, готовый помочь не на словах, а на деле. Ещё назову Владимира Михайловича Акимова, глубокого литературоведа, доброго благородного человека, и конечно же, Тамару Владиславовну Петкевич, нашего драгоценного друга, которая поддерживает нас всю жизнь.

Что ещё сказать напоследок. Сейчас 2013 год. Я продолжаю

писать, несмотря на болезни и прочие трудности жизни. Моя Лена со мной. И, как сказано, «страшен сон, да милостив Бог».

Дедушка и бабушка

Дедушка мой с материнской стороны Лейба Моисеевич родился в 1876 году, на 4 года раньше Блока, а умер в 1971 году, когда я был в концлагере в Мордовии. Родом дедушка из Брянска, от него я узнал происхождение названия этого города — он был основан в лесистой местности и получил имя Дебрянска, но постепенно в народной разговорной речи сократился до Брянска.

Дедушка много лет проработал счетоводом, большие должности миновали его. Зато он славился честностью среди сослуживцев. Фамилия его была Окунь. Как известно, большинство русских фамилий произошло от прозвищ, рыбаков среди предков, насколько я знаю, не было, но фамилия Окунь встречается среди евреев не так уж редко.

Прадеды мои и с материнской и с отцовской стороны были николаевскими солдатами — так назывались евреи-кантонисты, которых по распоряжению Николая Первого отбирали от семьи ещё в ранней юности и забирали в армию на 25 лет. Один год среди этих двадцати пяти лет давался им на побывку домой для женитьбы. Прадед со стороны отца был мясник, со стороны матери, кажется, тоже.

Дедушка был до глубокой старости красив благообразной библейской красотой патриарха. Он отличался деликатностью и тихим нравом, был не из храброго десятка. Любил читать, особенно газеты, рассказывал мне, как видел однажды Григория Распутина и запомнил его горящий взгляд.

Побывал он на лекции поэта Бальмонта «Поэзия как волшебство». Это случилось уже в Перми в 1913 году, Бальмонт тогда совершал турне по России с чтением лекций и стихов.

Помнил дедушка и о годах Октября, голодных и кровожадных. Он пересказывал мне напечатанное в газете тех лет письмо какой-то женщины Троцкому, где она спрашивала его: «Вас родила мать или волчица?».

Жил дедушка всегда с нами и умер у моей мамы на руках.

Бабушка Мария Лазаревна Гуревич родилась в деревне Гляденово, входившей в черту оседлости. С ранних лет научили её шить, и позже это ремесло держало всю её семью (дедушка зарабатывал очень мало). Бабушка была труженица, она работала, не покладая рук, до самой смерти. Жили они с дедушкой и детьми вначале в Перми, потом в Петрограде, Ленинграде. Работала она в прославленном ателье «Смерть мужьям». Её энергия, стойкость и мужество, как и дедушкина деликатность передались моей маме.

Бабушка умерла в 1965 году.

Я в этом достопамятном году встретил свою любовь на всю жизнь (1 мая 65 года), но не успел познакомить Лену с бабушкой, которой не стало 9 июня.

Автобиография Елены Фроловой

Я родилась в Ленинграде и до эвакуации жила на Невском — дом 88, квартира 98. Огромное коммунальное жилище. Коридор уходит в никуда. А в комнате уютно. Круглый стол, над ним лампа под абажуром. Абажур с кистью. Я хожу под столом, держась за его толстую ножку, высовываю руку из-под скатерти и стараюсь задеть маму, или папу, или кого-то из пришедших родственников, чтобы произнести неизвестно откуда пришедшую ко мне фразу: «Я нечаянно, прости, не встречая на пути». Не думаю, что в этом какой-то символ, свидетельство того, что большую часть жизни я проведу «среди стихов», но первые отчетливо запомнившиеся мои слова, действительно, были в рифму.

Мой папа — Симонович Александр Михайлович, экономист. Работал на крупных заводах. Смолоду чем-то там руководил.

Мама — Симонович Ольга Григорьевна была съездовой стенографисткой, работу свою любила, но с моим рождением стала меньше тратить на неё времени. А тут война, потом Львов, где нужно было знать и украинский язык, так что свою профессию она постепенно утратила.

Эвакуация. Новосибирск. Соцгород при авиазаводе, где работает мой отец. Одинаковые двухэтажные дома. За оврагом небольшие избы. Там живут местные, а в этих одинаковых — эвакуированные. И снег. Кажется, что им земля покрыта всегда. Длинные, холодные зимы.

Читать я стала в пять лет — сразу много и быстро. Лет в семь знала наизусть большие куски «Евгения Онегина». Его невзлюбила, не могла простить Таню. По моей просьбе мама нарисовала мне Татьяну Ларину в малиновом берете, а Онегина на коленях. И я становилась в торжественную позу, брала в руки две эти бумажки и: «Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была».

Лет семи стала писать стишата. Читала их куклам и подружкам в классе. Когда кончилась война, в большом зале нашей школы был митинг. Народу — масса. Наша учительница протолкалась к моей маме: — У Леночки нет ли какого-нибудь стиха, ну хоть как-то подходящего? — Есть — «После войны». Меня вывели на сцену. Косы торчат в разные стороны, от волнения вытерла ладонью пот над губой. — Что ты, девочка? — ко мне наклонилась наша любимая директриса. — Я написала стихотворение — Ну, прочти.

Дождь прошёл, прошёл и ветер,
Тучи нету ни одной,
Солнце светит, ярко светит
Над любимою страной.

Папы все вернулись с фронта,
Вот и кончилась война,
Снова радость, снова счастье,
Снова мирная страна.

В зале плакали женщины. Директриса поцеловала меня, а за кулисами журналистка заставила переписывать ей стихотворение.

Потом мы с мамой поехали в город — далеко, на трамвае. А там — толпы народа. Женщины целуют парня с пустым рукавом и всех кто в военной форме. Когда мы вернулись, все поздравляли нас и говорили, что по городскому радио передали стихотворение маленькой девочки Леночки Симонович из соцгорода. Таким

было моё первое выступление, как теперь говорят, в средствах массовой информации, но я его не услышала.

После войны папу направили во Львов. Город поразил меня и своими узкими улицами, и старинными зданиями, и всей совсем незнакомой мне тогда атмосферой. Ещё были маленькие частные лавочки, где мама покупала мне красивые переводные картинки. На барахолке распродавались самые удивительные вещи. Это из своего города уезжали поляки, но я только через много лет поняла, свидетельницей какой драмы мне довелось быть.

Хотя и тогда одна судьба поразила меня на всю жизнь. Её звали Виктория. Жила она в нашем доме. Польская еврейка. Не знаю, сколько ей было лет и была ли она красива, но привлекала в ней мягкость, наверное, женственность. С юных лет у Виктории был жених. Они любили друг друга, решили пожениться. Но сначала он учился, потом она училась, потом он, уже юрист, должен был начать практику. А когда уже все было подготовлено и обставлена квартира, началась война. Его убили в первый день. Вся семья Виктории погибла. Её спасла нянька, брат няньки вывез её из города на арбе с кукурузной ботвой (во Львове её называли гичкой). Немецкий патруль, проверяя телегу, тыкал в ботву штыком, но штык прошел в нескольких сантиметрах от съежившейся в ужасе девушки. И вот сейчас её изгоняли из Львова — в Польшу, где у неё не было ни одного близкого человека, и откуда Гомулка вскоре выставит всех евреев. Хотя об этом я тоже узнаю потом.

С подружками мы ходили в костёл, садились в задних рядах и слушали службу. С той поры я полюбила орган. А когда мы увидели конфирмацию — девочек в белых платьях, мальчиков в костюмчиках, а на голове — набриолиненные коки! И это после долгих серых военных зим!

Мама работала во львовском театре оперетты — не актрисой, на административной должности. Я любила приходить к ней днём, во время репетиций спектакля. У театра меня часто перехватывали поклонницы артистов, просили передать записку, цветы, подарки. Я презирала этих дур, примерно также относилась к героям-любовникам, которые и в жизни ломались, как барышни, и, обняв меня за плечи, глубоким голосом произносили: «Чудная девонька». Но сидеть в пустом зале, смотреть, как репетирует режиссёр, как улучшается от разу до разу сцена — всё это было для меня интересно и важно. Мама водила меня в наш хороший оперный театр — на балеты, на оперы. В театр драмы имени Заньковецкой я уже стала ходить и сама.

А гастролёры. В детстве мне довелось увидеть Марию

Бабанову, и до сих пор Диана из «Собаки на сене» Лопе де Вега говорит мне её голосом. А Романов из киевского театра имени Леси Украинки. Тогда он гремел примерно так же, как Николай Симонов в Петербурге. Украинские великие актёры — Бучма, Ужвий. Театральные потрясения тех лет во многом определили и мои будущие предпочтения, в конечном счёте повлияв и на выбор профессии.

В школе училась я легко и на отлично. В пятом классе увлеклась математикой. Все теоремы доказывала своим способом, любимое чтение — занимательная алгебра, геометрия. Мой дедушка преподавал математику в ленинградских вузах. Но он умер от голода в блокаду. Это была первая, тяжело пережитая

мною смерть. А вот гены его, наверное, сказались. Городские олимпиады по физике, математике. Я не побеждала, выигрывали мальчики, и все-таки педагоги обращали на меня внимание.

Но после семилетки меня перевели в новую, образцово-показательную школу. Классным руководителем у нас была учительница по математике Клавдия Георгиевна Страйн, старая дева, маленький носик, большие очки, и постоянное любопытство к нашим, девичьим секретам.

Я была комсоргом класса. Клавдия Георгиевна позвала меня:

— Леночка, давай ты будешь мне рассказывать о том, что происходит в классе, и мы вместе будем воспитывать девочек. — Нет, — сказала я, — я с детского сада знаю, что ябедничать неприлично. Через много-много лет я повторила эту фразу полковнику КГБ, но это было уже в другой жизни.

Надо ли объяснять, что наша классная руководительница стала моим злопамятным врагом, ждущим только удобного случая, чтобы укусить. А я возненавидела её уроки, а затем разлюбила и математику.

В десятом классе удобный случай Клавдии Георгиевне представился. В ту пору по амнистии выпускали уголовников, молодые урки быстро становились паханами стаек мальчишек. Детская преступность не только сейчас, но и тогда была страшным бичом. В нашей образцовой школе две восьмиклассницы, дочки директора института марксизма-ленинизма оказались проститутками и наводчицами в банде.

Мальчик, который был влюблён в меня, стал поперек одной из таких банд. В своей школе он создал радиоузел и выпускал радиогазету, в которой «бичевал пороки». «Объекты его критики» подкараулили его, когда он после вечера в школе проводил меня до дому, и избили так, что в больнице накладывали швы. Сказали: «пикнешь — убьём». Пикнул. Делом заинтересовался следователь. Искали выход на уголовников. Кто-то был в бегах.

К моему несчастью, эта история стала известна моей классной руководительнице. И она начала свое следствие. Приходила к нам домой, придумывала, что я встречалась сначала с кем-то из этих мальчиков, а теперь вот Игорь — и это месть. Я уверяла её, что даже не знаю никого из них. Но она не успокаивалась. Заявляла, что я должна помочь следствию. В школе разболтала всем кумушкам-учительницам. Все они пытались сунуть свой нос в мои дела.

Я хотела уйти из школы, но это был десятый класс, я шла на медаль. В другой школе мне медали было бы не видать. Я отказывалась отвечать на уроках, шла с дневником, получала двойку, садилась. Медаль и здесь уплывала от меня.

И тут, наконец, появляется человек, ради которого и стоило вспомнить всю эту историю. С девятого класса у нас литературу стала преподавать заслуженная учительница Ольга Фёдоровна Петрова. Она была большая, грузная, тяжело нависала над столом. Неудивительно, что прозвище её было «Корова». Но когда она начинала читать стихи или рассказывать о любимых произведениях — какой лёгкой, летящей становилась она. Мне она давала волю — я писала сочинения в форме диалогов, как детективные истории, как рассказы. Все мои пробы пера она отсылала в Киев, в Академию. Но отношения у нас были непростые, мы спорили, то тянулись друг к другу, то отходили. В ту пору как раз было охлаждение, но после урока, где я написала сочинение, Ольга Федоровна позвала меня в свою каморку — литературный кабинет. — Откуда такой пессимизм? Первый раз я разревелась и рассказала ей всё. — Сколько тебе времени надо, чтобы исправить все двойки? — Если мне дадут хотя бы неделю покоя, на следующей исправлю. — Хорошо, больше тебя никто не будет трогать.

И не трогали. На выпускном вечере, когда все поздравляли меня с медалью, подошла наша любимая молодая учительница истории: — Хочешь знать что сделала Ольга Федоровна? — Да. — Она встала на педсовете и сказала: «Если вы поломаете душу этой девочки, я вас не только лишу права преподавать, я вас посажу». И села. Директриса засуетилась: «Ольга Фёдоровна, ну нельзя же так». — «Я всё сказала», — буркнула, не вставая, Ольга Фёдоровна.

А медаль мне всё-таки не дали. Не могло ОБЛОНО во Львове дать медаль Елене Симонович. Когда было «дело врачей», папа потерял работу, позже устроился, но уже не на такую должность, как прежде. В один день мне позвонила моя подруга Галя: «Лена, там висят газеты, народ толпится, так ты проходи быстро, не оглядывайся». Но первая моя собственная встреча с государственным антисемитизмом — когда после десяти лет сплошных пятерок мне не дали медаль.

Два дня я лежала на кровати и пела. Мама боялась, что я сошла с ума. Но на третий поднялась и сдала документы на факультет журналистики, где был самый большой конкурс и ещё мандатная комиссия обкома. Практически непреодолимая преграда.

Как я сдавала экзамены в университет — до сих пор вижу воочию. Я приходила в белом платье с белым бантом в длинной косе, садилась на подоконник, всем всё рассказывала. Первая шла отвечать и выходила с пятёркой. Казалось, мне всё это легко. Память у меня, действительно, была тогда особенная, но только я

да мои родители знали, какой ужас охватывал меня при мысли, что всё равно найдут способ не принять, завалить. Экзаменов было 9, и на седьмом — украинском языке — страшное начало свершаться. За сочинение поставили четвёрку, с четвёркой я бы уже не прошла. Но почему-то они решили показать мне моё сочинение и «ошибку». — Нет, — сказала я, — это спорный случай. Но они не стали меня слушать.

Я вышла в коридор. К моему счастью, у меня к тому времени появилась «болельщица» — профессор нашего университета. Её сын поступал вместе со мной. За него болеть было нечего, а вот девочка в белом платье с белым бантом… Я рассказала ей всё.

— Пойдём на кафедру украинского языка, спросим. На кафедре подтвердили мою правоту. Мы попросили справку. Мне бы они, конечно, не дали, но со мной была профессорша. Я со справкой вернулась на экзамен.

Итак, я стала студенткой факультета журналистики Львовского госуниверситета. На всём факультете было трое евреев.

Я так подробно рассказываю всю эту эпопею с поступлением и совсем плохо помню саму учёбу в этом своём первом вузе. Был замечательный преподаватель, который читал нам языкознание, но ему тогда, когда главным специалистом по языкознанию ещё так недавно был сам вождь народов, не удавалось защитить даже кандидатскую диссертацию. А лекции его остались в памяти. Вдобавок он читал нам те стихи, которые тогда были под гласным или негласным запретом, и которые я, конечно, тут же запоминала. Остальные же педагоги — они преподавали нам партийную и советскую печать и тому подобные темы.

Единственным своим учителем в журналистике я до сих пор считаю вконец спившегося, но талантливого человека, начинавшего в «Комсомолке», но в тут пору уже бывшего сотрудником районной газеты, где я проходила первую практику. Когда меня туда прислали (а выглядела я неприлично молодо), он сказал: «Вот направили к нам курёнка, теперь возись с ним». Но вскоре увидел, как «курёнок» едет в колхоз, привозит материал, пишет и неплохо. «Ай да курёнок», — сказал он. И стал делиться со мной секретами профессии.

От этой практики в моей памяти остался навсегда запомнившийся мне забавный эпизод. В одном колхозе была председательница, славящаяся на весь район крутым нравом. Говорили, что она за провинности звала к себе агронома и животновода, брала за шиворот, стукала их головами и говорила: «Теперь идите и не говорите, что Комарыха побила, бо смеяться будуть». Я взяла у неё интервью, но что-то надо было перепроверить. Через все помехи связи дозваниваюсь, называю её по имени-отчеству. Мне отвечает мужской голос: «То я». «Да нет, — говорю я, — мне Екатерину Петровну» — «Так то я, я ж тэбэ признала, пигалица».

Вот такой пигалицей я и кончила институт. Но писать и печататься я стала со второго курса. И когда, приехав в Ленинград, принесла знаменитой в ту пору редакторше телевидения Бэтти Шварц свой сценарий, она, узнав, что я поступаю ещё учиться на театроведческий факультет нашего

ЛГИТМИКа, удивилась: «Зачем? Вы же совершенно профессиональный журналист».

Такая оценка такого человека мне была, естественно, приятна, но сама я чувствовала, что в своём первом вузе нужных мне знаний недополучила. И мой театроведческий стал главным институтом в моей жизни.

Но сначала несколько слов о том, как я решила попасть в Ленинград. На факультете журналистики я поначалу тоже была отличницей, но постепенно в зачётке стали появляться четвёрки. Когда один сотрудник молодёжной львовской газеты, где я уже печаталась, пришёл просить направить меня к ним на практику, чтобы я могла заменить ушедших в отпуск, ему сказали: «Евреи всегда норовят остаться в городе, но мы их не оставим». И не оставили. Послали в самый глухой район, где я, кстати, никому не была нужна. Я не поехала, и на моей журналистской карьере во Львове можно было поставить крест.

Из Ленинграда в эвакуацию увезли меня маленькую, но лет в 14 мама взяла меня в свой город месяца на два. Я обошла все музеи, без конца бродила по Эрмитажу, на всю жизнь полюбила Рембрандта и, вернувшись, стала говорить всем подругам, что жить можно только в одном городе.

Вот сюда я и рванула из хорошей дружной семьи, из обеспеченной жизни, из огромной квартиры — одна, жить в Ленинграде, ходить по его улицам, учиться, получать, как я тогда для себя определила, комплексное гуманитарное образование, работать.

Как это удалось — особая история. И все-таки я ассистент режиссёра на киностудии Леннаучфильм и студентка театроведческого факультета Ленинградского театрального института.

Из киностудии я через года полтора ушла, поняв, что это не моё. А вот институт и время. Как совпало! Легендарный БДТ, потом «Современник», «Таганка». Начало шестидесятых. Оттепель. Наши педагоги, наконец-то смогли начать говорить. И это была школа профессии, школа жизни.

Анна Владимировна Тамарченко. Да, конечно, и она к тому времени не вырвалась ещё из пут совковости. Высоко ставила эстетику «молодого Маркса», с одобрением говорила о движении интеллигенции Прибалтики — лучшие в партию (и меня тогда почти подтолкнула к этому — счастье, что почти), и все-таки для нас то, что она говорила, как оценивала спектакли, книги, которые мы читали, стихи, которыми зачитывались — всё это было ново, свежо. Это была ещё незнакомая нам свобода.

Анна Владимировна пережила на опыте своей семьи борьбу с

«космополитизмом». Муж её Григорий Евсеевич Тамарченко, тоже профессор-филолог, еврей. Даже в шестидесятых-семидесятых годах у него не было работы в Ленинграде. Преподавал в Новгороде, мотался туда-сюда.

С этими людьми мы подружились на всю жизнь. Я говорю мы, потому что позже, когда в моей жизни появился Толя, они оценили и полюбили его стихи, мы часто бывали в этом доме, читали, разговаривали. До сих пор по разным поводам вспоминаем слова Анны Владимировны: «порядочность неделима».

Ну а в те студенческие годы были споры, разговоры, формирование мировоззрения, открытие нового.

Как сейчас помню — наш курс собирался очень часто. После спектаклей не расходились, шли к кому-то домой, пили за Брехта томатный сок, бывало, что на столе 10 пирожков, бутылка вина — и вся ночь разговоров. Этот раз мы встречались в квартире на Средней рогатке, и Анна Владимировна и Григорий Евсеевич приехали к нам от Аларчина моста на такси, чтобы дать нам послушать записанные на магнитофон первые песни Высоцкого. Потом также был Галич. Окуджаву мы и сами уже знали.

На наш курс Тамару Владиславовну Петкевич тоже привела

Тамарченко. Отца Тамары арестовали и расстреляли в 37-м, её посадили в 43-м. После лагеря, жизни без всяких прав, когда 2 вуза остались незаконченными, когда не было профессии, Тамара Владиславовна в 40 лет поступила на театроведческий факультет, на другой курс, а Анна Владимировна, уже полюбившая нас, уговорила Тамару сдать экстерном и перевестись к нам. С тех пор мы тоже всегда вместе, и на первый допрос, когда арестовали моего мужа, она провожала меня до Литейного, 4. Но я опять забегаю вперёд.

После Тамарченко мастером нашего курса стал Владимир Александрович Сахновский-Панкеев. Блестящий рассказчик, яркий полемист. Как он умел издеваться над ложной патетикой, над желанием прежде всего показать себя, а уж только потом спектакль, о котором шла речь.

Сам писал жёстко, но не жестоко. Театр, актеров любил. Был из этой породы. Не рассказывал, а проигрывал нам те фильмы, которые мог тогда посмотреть в Доме кино. Школа его была неоценима.

Он стал моим руководителем диплома. В это время вышел фильм об Айболите с Роланом Быковым. И Сахновский, внешне похожий на героя этой чудной комедии, остро, безжалостно громил меня за любую неточность под песню «Мы акулу-каракулу каблуком», а потом говорил — какой хороший диплом я написала, как нужно продолжать работу и делать на эту тему диссертацию. И я действительно получила за диплом «отлично с отличием».

Тема моего диплома была «Театр Мейерхольда и зритель 20-х годов двадцатого столетия». В ту пору ещё мало писали о Мейерхольде, его имя совсем недавно было под запретом. Я работала в архивах в Москве, накопала много интересного материала. Казалось, открывается новая дорога. Но…

В институте мы учились заочно — 6 лет. Кстати, однажды, когда почувствовали, что скоро конец и что мы совсем не хотим расставаться, заявили, что после шестого курса у нас будет ещё шестой-а, и вот это название «шестой-а» навсегда сохранилось и у нас, и в памяти нашего театроведческого факультета. До сих пор каждый год 19 марта — традиционный сбор соучеников.

Но кроме института, театра, наших споров-разговоров, была ещё другая жизнь. Я работала в многотиражной газете судостроительного завода имени Жданова. Поначалу я думала, что если есть ад, он выглядит так, как сборочный цех — сполохи сварки, стук отбойных молотков и на стропилах — после обеденного перерыва — молодые подвыпившие рабочие в грязных с подпалинами ватниках.

Нет, конечно, там были яркие, интересные люди. Рабочие, у которых и шов чистый, ровный и одежда без подпалин. Специалисты-корабелы, живо относящиеся к делу. Я вела ЛИТО, и через много лет женщина, кончившая потом литинститут, говорила, как тепло вспоминала творческую атмосферу нашего объединения. Но условия работы. Но обстановка. Но дикая

система хозяйствования — когда всё «сдавалось» к праздникам, и комиссии, чтобы она приняла недоделанную работу, устраивали грандиозные банкеты, а потом уже в плохих условиях шла доделка-доработка. А несуны… Купили за валюту в Финляндии цех. Его надо было сразу монтировать, но площадка, как всегда, не готова, а когда пришла пора устанавливать эти конструкции, ставить было почти нечего — по гаечкам разнесли, по блестящим деталям.

Я печаталась много в газетах и города, и всесоюзных, в театральных журналах. На радио ежемесячно шла моя часовая передача. Но когда милые редакторы радио захотели взять меня на освободившееся место, то сразу было заявлено, что вакансию закрыли перемещением. Я не стала спрашивать кого куда «переместили», пятый пункт продолжал быть пятым пунктом, а потом и вообще все двери передо мной закрылись.

Через год после переезда в Ленинград я вышла замуж за Александра Фролова. Мы жили вместе с его мамой в отдельной квартире на Невском. И всё было как будто хорошо, но… Когда мы только стали встречаться с Сашей, я понимала, что у него нет определённых духовных предпочтений, и думала — вот чистый лист, я вовлеку его в свою жизнь, свои интересы. Наивные мысли. Стена непонимания постепенно вырастала между нами. И в один день, чтобы не объясняться, потому что мне даже не в чем было его упрекнуть, я привела подругу, собрала небольшую сумку — зубную щетку, кофточку, что-то из белья, 5 рублей денег. С тем я и ушла навсегда из этого дома в свою новую жизнь, где пришлось снимать комнату, жить на рубль в день, впрочем, по молодости меня это не слишком угнетало.

30 апреля 1965 года моя подруга Матильда, приятель Эмиль и я шли по Невскому и обсуждали, как будем праздновать 1 мая в маленькой компании у друга Эмиля (мы тогда отмечали все праздники).

— Все надоели. Позови кого-нибудь нового.

Эмиль открыл записную книжку:

— Вот есть интеллектуал.

— Надоело.

— Вот оригинал.

— Хлопотно.

— Вот поэт.

— Поэт — это интересно.

И назавтра на станции Метро «Чернышевская» меня ждали Матильда, Эмиль и высокий худощавый молодой человек в болоньевом плаще и соломенной шляпе.

Не могу сказать, что это была любовь с первого взгляда. И

ссорились, и мирились, и отстаивали свою независимость. И бедность, и неустройства. Но с 1 мая 1965 года мы вместе. И каждый год вдвоём отмечаем день нашего знакомства.

Поженились мы с Анатолием Бергером 16 января 1969 года. А 15 апреля этого же года он был арестован КГБ и за свои собственные произведения осуждён по 70 статье УК РСФСР на 4 года лагеря и 2 ссылки.

Когда меня допрашивали следователи в Большом доме и я, объясняя, почему Толик написал то или иное стихотворение, чем вызвана та или иная оценка, сказала:

— Мы жили одной жизнью.

— Да, конечно, семья, — согласился следователь.

— Не только это, — сказала я, прекрасно понимая, что усугубляю свою «вину», — мы жили вместе духовно.

Шестидесятые годы и для меня были годами формирования мировоззрения. И наша встреча с Толиком, его поэтическая одарённость, его глубокая образованность (я всегда говорила, что у меня было три вуза — два, которые я сама окончила, а третий — мой муж), его знание истории страны и древней истории, его подход к прошлому не как к руинам, а как к живой жизни людей — всё это помогало и моему созреванию.

У Толи в его малюсенькой комнате и до нашей свадьбы и после по пятницам собирались друзья. Мы говорили о самом важном. Толик читал новые стихи. Шли споры, обсуждения.

Потом, на допросах меня спрашивали об этих пятницах, но я твёрдо решила, что разговоры (особенно если участников было всего 3 — Андрей Бабушкин, Толик, я), подтверждать не буду. И хотя могла бы себе это поставить в заслугу, всё равно понимаю, что на следствии не имела возможности существенно помочь мужу — всё было предрешено. Мне оставалось только ждать его — ездить на свидания, а потом вместе с ним отбывать ссылку в Сибири.

В этой книге в моих воспоминаниях «По ту сторону колючей проволоки» есть рассказ о том, как нависла надо мной угроза потери работы после осуждения мужа, но тогда, когда я писала это, я сознательно из своего рода «чистоплюйства» упустила одну подробность. Сейчас же мне кажется это неправильным, вся история полностью ещё больше может сказать о времени, о тех, кто делал свою карьеру в ту пору через комсомол, через партию.

Итак, комнатка редакции, где я работала, была напротив парткома завода и рядом с комитетом комсомола. И комсомольцы, когда организовывали разные поездки, брали меня обычно с собой.

Был в этом комитете Анатолий Никитин. Высокий,

симпатичный парень. В отличие от своих сотоварищей он читал то, что особенно обсуждалось. Когда ездили куда-то, мы с Никитиным часто говорили о книгах, театрах.

Потом он ушел руководить каким-то цехом, а затем, когда уже Толика арестовали и шло следствие, вернулся в партком. Это был проверенный карьерный путь. И Никитин проходил его по всем их правилам: принял официальный тон, стал всем выкать.

Естественно, в моей ситуации меня это абсолютно не интересовало. Но как-то он подошел ко мне и попросил задержаться после конца работы. По положению, он был моим начальником. Я осталась. И началось какое-то дурацкое объяснение в любви: — Я все время о тебе думаю. Я без тебя не могу. Можем мы хотя бы сходить в кино? — Нет, — сказала я. — Почему? — Потому что ты дурак. — Дурак? — Конечно. Ходишь напыженный, со всеми на вы. — Но я же молод ещё, мне надо завоевывать авторитет. — Вот и завоевывай.

Прошло немного времени. Приговор уже позади. И на завод нагрянули гэбисты по мою душу. Позвали в партком. Два немолодых парткомовца, Анатолий Никитин и два гэбиста.

Терять мне было нечего. Если бы меня уволили, другой работы мне бы не найти. Поэтому я и билась, как могла.

Когда гэбисты стали читать наиболее резкие Толины стихи, чтобы показать, чему я потворствовала, сказала, что за распространение их судят по статье 70, и если они пойдут «в люди», не ищите источников их обнародования.

Когда пригрозили увольнением, ответила, что готова, только если мне дадут жилье в Большом доме за казённый счёт.

Когда объявили, что я соучастница — возразила: по моему поводу не было принято частного определения и за такие обвинения я сама могу подать в суд.

Парткомовцы старые всё время молчали. Думаю, им было неудобно присутствовать при том, как терзают сотрудницу их редакции. Но тут заговорил Анатолий Никитин.

— Лена, ну вот если Вы идёте и видите, что кого-то убивают и не вмешаетесь, формально Вас не могут обвинить в соучастии, но по существу…

От возмущения я даже задохнулась. Что ждать от гэбистов? Но человек, с которым много лет знакомы, обсуждали книги, спектакли, а недавно: «Без тебя не могу».

Конечно, я взяла себя в руки. Ответила, кажется, что это такой нелепый вопрос, что не считаю нужным как-то реагировать.

Когда я вернулась на работу, сказала своему редактору Олегу Байкову, что скорее всего это конец, он медленно снял очки, опустил голову.

— Ну нет, Олег, — приходите в себя. Их я выдержала, Вас нет.

Потом я пошла в столовую со своей коллегой Ниной и рассказала ей о допросе и — только сейчас — о разговорах с Анатолием Никитиным. И Нина тоже не сдержалась, и у неё были слёзы.

А недели через две Нина поехала с комсомольцами на их слёт. И к ней подсел Анатолий Никитин и стал восхищаться тем, какая я журналистка — «пять человек были против неё и она всем дала отпор». А Нина, которая знала уже о его роли в этом издевательстве, онемела и только удивленно глядела на него.

Да, такие шли к своей цели по трупам.

После окончания института я сдала на отлично два кандидатских экзамена. Даже тогда, когда начались все эти драматические события, Владимир Александрович Сахновский уговаривал меня продолжать заниматься моей темой и сказал, что нашёл мне руководителя диссертации. Это была Лариса Ивановна Новожилова, не так давно возглавившая кафедру марксизма-ленинизма в нашем институте, пригласившая туда молодых, живых преподавателей, сама увлечённая социологией.

Ларисе Ивановне сразу понравилась моя дипломная работа, она захотела со мной работать. Но в это время по приказу Романова её забирали в райком партии. Новожилова не хотела совсем расставаться с институтом, поэтому предложила мне поступить в аспирантуру. Надежда была слабой, но всё же я попросила рекомендацию в парткоме. Они и написали, что работник я хороший, но мой муж сидит по статье 70 УК РСФР.

Лариса Ивановна пошла к ректору с этой бумагой. И он, казалось бы человек порядочный, но, как и все запуганный, сказал, что ноги моей, руки моей, головы моей не будет в его институте.

Новожилова позвала меня к себе домой. Интеллигентская квартира на Васильевском острове, старинное бюро. Она как-то пыталась смягчить удар. Советовала писать, хотя, зная мою историю, сказала, что и эту «вакансию» могут занять перемещением. Мы с Сахновским еще гадали тогда — что победит: интеллигентность Ларисы Ивановны или райком. Странно было даже задаваться таким вопросом.

С моим редактором Олегом Байковым мы уходили из нашей газеты одновременно. Были мы с ним совершенно из разных кругов. У него ПТУ, вечерний институт, членство в партии. У меня театр, поэзия. Но, несмотря на серьёзные идеологические споры, мы ценили и уважали друг друга. У нас дома на письменном столе стоит совсем простой письменный прибор, на

нём выгравирована надпись — это Олег и Нина подарили мне его на день рождения 20 апреля 1969 года, через пять дней после Толиного ареста. И вот в 1973 году его брали на повышение в газету «Ленинградская правда», я же уезжала к мужу — в ссылку, в Сибирь.

Когда мы вернулись, и нужно было выступить в защиту театрального музея, я обратилась к Олегу.

— Не могу, — развёл он руками, — я в стае.

Я тут же откликнулась строчкой Мандельштама: «потому что не волк я по крови своей, и меня только равный убьёт»

— Завидую, — сказал Олег.

Когда мужа после возвращения никуда не брали на работу, я решилась сходить в райком к Ларисе Ивановне Новожиловой. Она поначалу даже сочувственно выслушала меня. А вскоре отказала через секретаршу.

Да, завидовать нам не приходилось ни во время ссылки, ни после. Но и тем, которые в стае, я бы не позавидовала.

В Сибири условия жизни были тяжёлыми. Мы снимали в избе у тёти Нади комнату за занавеской. Если зимой выскочишь в сени за сковородкой без варежек, металл пристанет к пальцам. С продуктами было туго. Посылали нам посылки Толины родители, иногда мои, иногда друзья. Очень было здорово, когда из Москвы подруги прислали банку топлёного масла.

Толик работал грузчиком. Когда сорвал спину, долго никуда не мог устроиться. Писал в ЦК, требовал, чтобы они выполняли свои законы. Направили работать агентом госстраха.

Мне не разрешили вести даже театральный кружок в курагинском клубе. Как ни странно, лекции от общества «Знание» читать не мешали. Я и читала — об эстетике, о красоте. Даже «Гамлета» Пастернака включала в свои выступления. Надеялась, что хоть два-три человека услышат. Кажется, и слышали. Совсем недавно, узнав наш адрес от семьи Вагнеров, которые когда-то приютили Толика и его товарища по ссылке Гришу, из Германии позвонил Бауэр. Он был директором того предприятия, где я выступала как лектор, предложил подвезти. Я познакомила его с мужем, мы бывали у них дома. Сейчас в разговоре он сказал очень важные слова: «Спасибо вам, что вы были в нашей жизни».

Денег не хватало. Я была уже членом Союза журналистов, позади два вуза — написала в Красноярск, предложила свои услуги на радио, телевидение, в газеты. Откликнулся только Дом народного творчества. Предложили мне написать книгу о народных театрах Красноярского края и сразу вызвали на режиссёрскую лабораторию в Енисейск.

Разумеется, это была удача. Возможность хоть какой-то

профессиональной работы, поездки по городам и посёлкам края, встречи с творческими людьми.

В Енисейске режиссерскую лабораторию вел приехавший из Москвы преподаватель Щукинского училища Альберт Григорьевич Буров. Я поначалу помалкивала, ещё не совсем понимала своё положение в этих новых для меня условиях.

После заседания режиссёр Енисейского народного театра Володя Евстифеев повёл нас по городу, показывая все достопримечательности.

Развалины бывшего большого монастыря.

— Здесь были золотые купола, старинные иконы.

— Кто же его так ограбил? — спросила молодая режиссёрша.

— Советская власть, — ответил Владимир.

Мы пришли в музей декабристов. Музея практически нет, но стенды, фотографии. Хожу, всматриваюсь в чудные лица. Сзади голос — Альберт Григорьевич Буров:

— А Вы здесь по сходному поводу?

Сразу стало легко. А с Володей Евстифеевым мы почти подружились. Талантливый он человек. И театр у него был интересный. Его постановка «Клопа» Маяковского была самой убедительной из всех, что мне довелось видеть. Такая острая сатира, направленная не только на прошлое, но и на будущее, где мещанин Присыпкин оказывается всё-таки живым человеком среди механически действующих совершенно одинаковых существ в белых халатах.

Енисейский театр был лауреатом всесоюзного фестиваля, сейчас его направляли на смотр в Прагу. Евстифеев хотел повезти «Клопа». Когда собирали комиссию, которая должна была отсмотреть спектакль перед поездкой, Володя звонил в Дом народного творчества, просил прислать театроведа и не просто театроведа, а Фролову. Но меня не нашли (это меня-то, которая из посёлка Курагино могла выехать только по командировке этого Дома). Спектакль задробили. Да и я бы не смогла помочь тогда. Особенно лютовали школьные учителя — и девочки в мини-юбках, и двигаются, как механизмы.

Во все поездки по краю я брала с собой рюкзак — вдруг попадётся что-то съестное. Особенно удавалось отовариться в Шушенском. Снабжался посёлок лучше, всё-таки иногда туристы приезжали.

Пошла и я посмотреть, где жил вождь мирового пролетариата. Избы на улице крепкие, справные. Ленин, в отличие от моего мужа, там не работал, получал от царского правительства 2 рубля золотом (огромные по тем временам деньги). Молодая экскурсоводша с восторгом рассказывала, как

ходил он на охоту.

— Приехала Надежда Константиновна Крупская. Радости не было конца. Всю ночь они проговорили о Союзе борьбы за освобождение рабочего класса.

Чтобы не рассмеяться вслух, я прикусила перчатку. А рядом с серьёзными лицами стояли молодые ребята.

И всё же, как написал Анатолий Бергер, «Сибирь вспоминать не в печаль». Эта тайга, где закинешь голову и едва различишь верхушки деревьев, эти тёмные реки, скосы гор с разноцветными глинистыми вкраплениями. Люди, с которыми мы там подружились. Валька, о которой я написала очерк, художник-самородок Вадим, Райка, горячо схватывающая всё интересное.

Сумрачный, заснеженный посёлок. Мы идём, закутываемся от холода. Но вот изба Вагнеров. Жарко натопленная печь. Девчонки бросаются навстречу. Младшая Аленька устраивается у меня на коленях. И даже Фрида оживляется и кажется уже не такой худой и измождённой.

И самое главное, в Курагино, после 4 лет разлуки, мы были вместе. Этот «устроенный» нам КГБ на два года медовый месяц и в дальнейшем помогал выдерживать новые испытания.

В Ленинград мы вернулись 7 декабря 1974 года. Было радостно и тревожно. Мужа сначала не хотели прописывать. А потом не брали никуда на работу. Пришлось опять писать в обком, настаивать на своих правах.

У меня тоже всё не складывалось. Как раз в это время в одном институте организовывалась лаборатория театральной социологии. В Ленинграде людей, которые занимались этой темой, было совсем немного. Руководитель лаборатории хотел принять меня на работу. Но то ли ему запретили, то ли сам испугался — тянул, тянул почти четыре месяца и отказал.

Тогда моя однокурсница и подруга Тамара Владиславовна Петкевич, которая работала в Доме художественной самодеятельности, поговорила с директором Дома Марком Михайловичем Гитманом, и он взял меня к себе заведующей театральным отделом. Сибирский опыт пригодился.

Странная это была должность. 120 рублей оклад, а при этом как будто большое начальство. Без моего согласия нельзя было взять на работу руководителя народного театра, а театров этих в городе было много. Сдавали спектакли самодеятельные коллективы — я должна была организовывать комиссии по приёмке. И поначалу ко мне пытались ходить с приношениями, жаловаться на своих коллег, рассказывать сплетни.

Я твердо сказала работникам отдела, что мы не начальники, а помощники, а чтобы остановить сплетников, попросила

написать плакат: «Отелло погиб в результате интриги. Мы хотим жить» и молча на него показывала. Но очень скоро, когда отсеялась ненужная шелуха, стало понятно, что любительское движение семидесятых годов — это живой, сложный процесс. И работать стало по-настоящему интересно.

В Ленинграде новые театры в то время не создавались. В старых сидели давно возглавившие их режиссёры. Молодым, талантливым не было места.

Юрий Александрович Смирнов-Несвицкий, кандидат наук, преподававший в нашем ЛГИТМИКе, организовал театр-клуб «Суббота» (сейчас это уже муниципальный театр) и первый спектакль «Окна, улицы, подворотни» поставил по рассказам студийцев о событиях их жизни.

В самодеятельных театрах шло то, что было под запретом в профессиональных. Владимир Бродянский ставил «В ожидании козы», Владимир Малыщицкий — «Сто братьев Бестужевых» и «Сотникова». Кажется, первая в стране попытка перенести на сцену роман Булгакова «Мастер и Маргарита» — это «Подследственный из Галилеи», решённый Борисом Ротенштейном как мировоззренческий спор о смысле жизни.

Сейчас весь театральный мир и не только в России знает режиссёров Гету Яновскую и Каму Гинкаса. В ту пору у них не было работы в нашем городе. Кама иногда ездил ставить в провинцию. Гета вязала кофточки.

Я уговорила Гету возглавить самодеятельный коллектив Дома культуры имени Володарского, и скоро о маленьком театре «У синего моста» заговорили все театралы города. А поставленная Яновской очень смешная и очень-очень грустная «Красная шапочка» Шварца напоминала нам, что при всём благополучии конца героине сказки всё же пришлось побывать в брюхе волка.

При Доме художественной самодеятельности удалось организовать режиссёрскую лабораторию. Занятия в ней проводили лучшие театральные педагоги города — Аркадий Кацман, Роза Сирота. В белом зале (сейчас здесь театр «Зазеркалье») я организовала театральную гостиную, где можно было показывать и обсуждать самые спорные, самые острые спектакли.

Вести гостиную я приглашала известных в городе театральных критиков, особенно хороших полемистов. Чаще других у кормила оказывался Евгений Колмановский. А ту гостиную, о которой хочется рассказать особо, вёл мой профессор Владимир Александрович Сахновский. Это был спектакль «Исход», поставленный Евгением Ицковичем в пригородном клубе Петро-Славянки. В ту пору абсурдистская драматургия была в

стране под запретом, да и отношение к религии было совсем не таким, как пытаются представить сейчас коммунисты, стоящие перед камерами телевидения со свечками. А здесь — Беккет, Теннесси Уильямс, Гоголь и все перебивки между сценами — воскрешение Лазаря.

После спектакля — наэлектризованная обстановка. Одна из моих врагинь привела на гостиную весь партком одного института. Споры доходили до каления. Владимир Александрович сказал:

— Юрий Александрович Смирнов-Несвицкий уговаривал меня ходить на любительские спектакли, а я не верил ему и всё ходил в БДТ. Но представить себе такой спектакль в профессиональном театре и спокойное обсуждение его в ВТО, простите, не могу.

Но когда я попыталась также горячо включиться в спор, он отрывисто бросил:

— Молчи. Здесь шестеро оттуда.

Не знаю — шесть или не шесть, но то, что КГБ ходило по пятам, было ясно.

Марк Михайлович Гитман уже давно не работал в ЛДХСе. Был новый молодой директор Геннадий Титов (отчество забыла). Поначалу ему нравились мои затеи, а больше всего то, что была очень большая пресса — и ленинградские газеты, телевидение, и всесоюзные газеты, журналы. Но, видимо, не выдержал.

Он пришёл на гостиную, где опять показывали Беккета — был моноспектакль «Последняя лента Креппа». Назавтра он много раз вызывал меня в свой кабинет, всё высказывал свои несогласия. У меня тогда была молодая режиссёрша, помогала мне в каких-то бумажных делах. Когда я третий раз вернулась от своего директора, конечно, не особенно весёлая, она заплакала:

— Елена Александровна, берегите себя, ведь пока Вы здесь, всё можно сказать, всё посмотреть.

— Ты какая-то дура. Если я буду себя беречь, ничего нельзя будет сказать, посмотреть.

Но дни мои на этой работе были уже сочтены. Директор начал «борьбу за дисциплину», нас стали встречать на лестнице, давать расписываться в журнале. У меня чуть не через день были вечерние просмотры. После этого приходить с самого утра, выслушивать нотации.

Я поднялась на собрании:

— Я не дворник, который, получив нагоняй, ищет собаку, чтобы её ударить. После того, как мне с утра испортят настроение, я не могу встречать людей с улыбкой, работать творчески.

Мне ответили, что для меня не будет других условий, что надо искать частную контору. Я подала заявление на увольнение. И три часа ходила по городу, чтобы успокоиться, овладеть собой.

Когда я пришла домой, то оказалось, что уже многие руководители коллективов проведали — уговаривали забрать заявление, кто-то даже упрекнул, что я их бросила.

Позвонил Вадим Сергеевич Голиков. Он был раньше главным режиссёром театра Комедии, но съели. Сейчас он руководил театром университета:

— Чем я могу быть Вам полезен?

Я ответила: «Вот этим звонком».

Моя подруга Аля в ужасе от того, что теперь я совсем никуда не устроюсь, позвонила Анне Владимировне Тамарченко. Та согласилась:

— Вообще-то мало надежды, но когда это касается Ленки, всё может быть.

Анна Владимировна как-то сказала мне:

— Я знаю двух людей, которые при всех испытаниях сохранили чувство хозяев жизни — Гришенька и ты (Гришенька — это муж Анны Владимировны Григорий Евсеевич. Когда Тамарченки эмигрировали, он, хотя было ему уже более 60 лет, сумел организовать в гарвардском университете новый факультет — живой русской культуры).

Мне таких подвигов свершить не довелось. Но театровед Татьяна Жаковская — когда-то я устроила на работу её мужа, а теперь она поговорила с директором областных курсов повышения квалификации Галиной Ивановной Вавилиной, и та пригласила меня на разговор.

Галина Ивановна приехала в Ленинград из Коми-Пермяцкой республики. Тогда она даже плохо владела русским языком, но окончила институт культуры, руководила курсами, и было у неё особое чутьё на людей, которые ей нужны.

— Какого числа у Вас последний день?

— Десятого.

— Пишите заявление с одиннадцатого.

— Галина Ивановна, я физически не сумею быть у Вас одиннадцатого, надо хоть передать дела.

— Мне совершенно всё равно, когда Вы придёте сюда. Заявление пишите с одиннадцатого.

Позже я узнала, что она месяц не сдавала мои документы в отдел кадров, чтобы испытательный срок прошёл.

Работать с Галиной Ивановной Вавилиной было нелегко. Сегодня она была очень хорошей, завтра — к ней лучше не подходить. Но главный экзамен она выдержала, перед КГБ не

спасовала.

Когда Толик, уже член Союза писателей, реабилитированный, автор двух книг, выступал перед библиотекарями, Галина Ивановна, в ту пору директор библиотеки дома-музея Пушкина, взяла слово:

— У меня на курсах работала Елена Александровна, в КГБ мне говорили: «Вы же актриса, войдите в их дом, узнайте о чём говорят». Я не сделала этого, не познакомилась с Анатолием Соломоновичем и только сейчас хочу пожать ему руку.

Понятно, что об этом человеке я всегда вспоминаю с благодарностью.

Когда после Галины Ивановны директором стала тогда ещё совсем молодая Люся Шикурина, из Большого Дома пришли и к ней. Но Люся только расхохоталась:

— Да что мы атомную бомбу делаем? Да у нас зарплата 120. О чём Вы говорите!

Пришлось им оставить и её в покое.

Но до того, как я пришла на Седьмую Советскую и по-настоящему познакомилась с этими людьми, было ещё десятое, последний день работы в Доме художественной самодеятельности. Общее собрание руководителей любительских театров.

Я должна была отчитаться за год, говорить об успехах и о недостатках. Закончив, я сказала:

— У меня последнее сообщение, которое я прошу принять без комментариев: с завтрашнего дня я здесь не работаю.

И быстро села на первый ряд.

Конечно, были те, кто злорадствовал, кто был доволен, но какой раздался протестующий крик, и сколько людей кинулось ко мне. Но надо мной расставил руки молодой режиссёр студенческого театра и сказал:

— Никого не пущу.

И я поняла, что на защиту поднялся мужчина. Сегодня я помню только, что зовут его Саша. Благодаря этому Саше я взяла себя в руки, и другие не увидели моей слабости.

На курсы повышения квалификации я шла, думая, что это ненадолго, что надо пока перебиться, а там поискать что-то более близкое, интересное. Но оказалось, что дело это я полюбила и до сих пор не могу с ним окончательно распрощаться.

Мне довелось заниматься образованием взрослых и при советской власти, и в новые времена. Могу сказать, что и тогда и теперь стремилась использовать имеющиеся возможности и действовать вопреки господствующей идеологии.

В конце семидесятых, в восьмидесятые годы мы могли

собирать группы работников культуры Ленинградской области почти на целый месяц (144 учебных часа). И тут тяга к просветительству давала о себе знать. Мы хотели не только помогать совершенствоваться в профессии, но и шире — вовлекать в современную духовную жизнь, приобщать к культуре Ленинграда.

Кандидат философских наук Сергей Матвеевич Черкасов был в городе одним из лучших специалистов по Фрейду и его последователям. Фрейдизм в ту пору проникал во все поры культуры западного мира. Но у нас он, понятно, был запрещён. Я писала в плане что-то вроде «молодёжная политика», а сама говорила Сергею Матвеевичу: «Давайте фрейдизм и искусство» и тоже шла его слушать.

Преподавателей художественных школ мне удавалось водить в запасники Русского музея, Эрмитажа. До сих пор с гордостью и с благодарностью к Пиотровскому-старшему вспоминаю один случай. В Ленинград привезли большую выставку из американских музеев. Очереди были огромные, экскурсии не проводились. Мы постоянно работали с сотрудниками Эрмитажа, одна из них была готова провести специальную беседу для наших художников, но в толпе, но без специального разрешения — это было невозможно. Я пришла с письмом в экскурсионный отдел — просить, чтобы нас пустили на выставку на час раньше и с экскурсоводом. Мне ответили, что этого не разрешат.

— Я знаю, но для нас можно сделать исключение.

Меня отправляли от одного отдела в другой, пока я не добралась до Бориса Борисовича Пиотровского. Он встал, встречая женщину, внимательно выслушал меня, и для нас на час раньше открыли Эрмитаж со служебного входа, и была замечательная, навсегда запомнившаяся экскурсия.

У Людмилы Семёновны (Люси) Шикуриной, с которой я душа в душу работаю все эти годы и всегда говорю, что у меня начальница-приятельница, есть любимый рассказ про меня. Во дворце Меншикова открыли музей, очереди на экскурсии были на несколько месяцев вперёд, но у меня приезжала новая группа, надо было срочно. Я позвонила в экскурсионный отдел:

— А знаете что — мне надо провести группу у вас либо завтра в два часа, либо послезавтра в двенадцать.

Совершенно одуревшие от такой наглости, они сказали:

— Ну, тогда в двенадцать.

А мои коллеги всё повторяли: «а знаете что».

Для разных слушателей я читала лекции о театрах Ленинграда, о современной поэзии.

Не могу сказать, что всё было просто. Приезжали совсем

необразованные люди. Как-то вели своих учеников в Эрмитаж — довели половину.

Художественным руководителям клубов мне пришлось читать о поэзии. Называю известные имена — никакой реакции. Останавливаюсь:

— Скажите, вы не знаете этих поэтов?

Молчание.

— Ладно. Спрошу по-другому — вот вы готовите на праздники композиции, включаете стихи. Как вы это делаете?

— По тематике.

— И бестрепетной рукой можете поставить Пушкина после Фирсова?

Был тогда такой так называемый поэт. И этим девочкам, действительно, в культпросвет-училище советовали использовать его в своих литмонтажах — уж очень он был советский.

А тогда я, вместо лекции, просто читала им стихи.

Назавтра одна из слушательниц подвела ко мне свою подругу, которая пропустила мою лекцию:

— Нам вчера про поэзию рассказывали. Два часа стихи читали.

Когда по плану надо было повышать квалификацию актёров областных театров, я всегда строила занятия с учётом творческой, репертуарной политики режиссёров. В театре Драмы и комедии на Литейном прошли уже тренинги по сценвижению, сценречи, вокалу. И тогда мы продолжили просветительский курс — любимая наша преподавательница Александра Александровна Пурцеладзе еженедельно читала актерам удивительные, творческие лекции о полузапрещенных в ту пору поэтах серебряного века.

Лев Додин ставил в Малом драматическом «Дом» Фёдора Абрамова. Был он тогда ещё приглашённым режиссёром и организовать работу так, как делал впоследствии, то есть повезти исполнителей на место действия, приобщить к реальной жизни героев не мог. Я приглашала педагогов из консерватории, они приносили записи говоров, песен, а потом устроила поездку в деревню Белая Кингисеппского района, где был замечательный фольклорный коллектив бабушек.

Бабушки встретили нас в клубе — варёная картошка, солёные огурцы, топлёное молоко. Мы поставили на стол водку. И начались песни, и актёры темпераментно отплясывали со старушками. А уж когда совсем стало хорошо и по-родному, показали они нам свой спектакль — слегка осовремененный обряд сватовства. И мы ахнули — бабушку, которая исполняла роль матери невесты, Лев Абрамович сразу назвал «наш Жан

Габен».

Вокруг суетилась сваха, родичи — она была неподвижна:

— Я девку ростила — не одам.

— Да купец хороший, у него такая коляска…

— Вот ты у него поработай — и катайси.

Уговорить её было невозможно. Сунули в руки что-то для благословения, отвернувшись махнула «образом». Так и не взглянула на будущего зятя.

Лев Додин и актёры пригласили бабушек на просмотр «Дома». Удалось достать машину — и приехали они в платках, в сапогах. А спектакль сдавался непросто, ещё до финала было понятно, что комиссия придираться будет.

В антракте подошла к бабушкам:

— Ну как вам? Как актёры играют?

— А чего играют — они же все деревенские, только накрашенные.

А когда кончился спектакль, и зрители устроили актёрам овацию, на сцену полезли наши старушки. И слёзы исполнителей смешались со слезами их героев.

В то же время в кабинете директора шло «судилище» — нет, театральные критики всё хвалили, но председатель комитета по культуре Ленинградской области сказал: «Я не как Огурцов, я за это отвечаю, и в этом виде спектакль не может быть выпущен». И пошёл перечень «необходимых» правок, смягчения острых мест.

В 1979 году над нашим домом снова нависла тень КГБ. В конце семидесятых уезжали в эмиграцию наши друзья. Они вывозили стихи мужа, его воспоминания, которые мы несколько лет прятали в подвале Толиного дяди в Днепропетровске. Толик договорился с поэтом Игорем Бурихиным, эмигрировавшим в Германию вместе со своей женой Леной Варгафтик, что тот подберёт книгу стихов, не включая в неё «криминал», и предложит в издательство «Третья волна». Но моя приятельница по театральному институту Ира Баскина, обосновавшаяся в Париже и вскоре в свободном мире потерявшая чёткое ощущение советской реальности, без нашего ведома отдала часть Толиных воспоминаний Владимиру Марамзину, и «Этап» был опубликован в альманахе «Эхо» под прозрачным псевдонимом Горный.

Ира посылала нам книги. Очередную партию она отправила по своим каналам нашему однокурснику Аркадию Соколову. Аркадий и всегда был карьерист. Женился он на народной артистке балерине Габриэлле Комлевой. Получив Ирину посылку и перетрусив, отнёс её особисту института, а тот, естественно, в Большой дом.

Первыми вызвали Тамару Владиславовну Петкевич и Алю

Яровую. В рядах бывших наших сокурсников началась паника. Один из них даже предлагал написать покаянное письмо в газету, отречься от чего угодно. Я сказала, что это бред, что стыдно даже думать такое.

— Да, но вызывают Тамару и Алю. Не нас.

— Неужели вы не понимаете, что это путь к Толику.

Толика вызвали с работы. Допрашивали два следователя — «добрый» и злой. Он утверждал, что не писал — рассказывал, друзья могли записать с его слов.

— Вы опытный человек, — сказали гэбисты, — Но если появится ещё что-то на западе, пойдёте по второму кругу.

Пришлось от подготовленной книги стихов отказаться.

Опять перед нами встал вопрос об эмиграции. Сразу после возвращения из ссылки Толик какое-то короткое время хотел уехать из страны. Но мои родители ни за что на это не соглашались, и я тоже не представляла свою жизнь без родного города, без близких, друзей, театра. В 1979 году, когда угроза опять нависла, оба мы поняли, что, несмотря на постоянную опасность, оторваться от русского языка, от русской культуры для нас невозможно.

До сих пор не знаем, правильно ли мы поступили. Но было время, когда чувство счастья, что мы остались в России, перевешивало все трудности и лишения. Я, конечно, имею в виду перестройку, девяностые годы, ворвавшийся в страну воздух свободы.

Когда на страну обрушился ГКЧП, мы не спали всю ночь, звонили в Мариинский дворец, спрашивали, идут ли войска, надо ли приехать. Они отвечали, что не надо, что танки не приближаются.

А двадцатого мы были на Дворцовой площади на огромном митинге. И это единение с людьми, которые так же, как мы, переживали судьбоносные мгновения, всегда теперь с нами.

Нет, мы не были наивными оптимистами. Ещё в 1989 году Толик сказал мне, что империя рухнет вместе с идеологией, а дальше всё зависит от характера русского народа. Так, собственно говоря, и получилось.

Толику предлагали баллотироваться в депутаты Ленсовета, он отказался, остановил меня, когда я хотела записаться в Народный фронт, считал, что политика — не наше дело.

Я попыталась как-то поучаствовать в деле демократизации страны. Позвонила в приёмную Галины Старовойтовой:

— Я лектор. Я связана с работниками культуры Ленинградской области. Я могу распространять ваши агитационные материалы.

— Но это же замечательно, чудесно. Мы Вам обязательно позвоним.

Позвонили:

— Не могли бы Вы подежурить на агитпункте?

— Нет, не могу. Я очень занята, но я лектор, я связана со всей Ленинградской областью.

— Очень хорошо. Мы Вам позвоним.

Не позвонили.

В девяностые годы я уже стала понимать, что плодами перестройки смогут воспользоваться только дети, которым сегодня лет 5–6. И главное — перед ними откроется дверь в мир, и надо быть готовыми, чтобы этот мир воспринять.

За эти годы мы сами сумели побывать в 13-ти странах. Но это были либо экскурсионные поездки, либо гостевание у наших друзей, эмигрировавших из Ленинграда. Впечатления яркие, очень важные для нас — но это архитектура, памятники, музеи. А быт — только эмигрантских диаспор.

Сегодня без конца твердят о толерантности. Поздно.

В девяностые годы я поехала в Москву в министерство искать программу, по которой можно было бы самых маленьких вводить в жизнь людей другой национальности, обычаев, цвета кожи, преподавать им сказки народов мира, мифы.

Мне предложили программу мировой художественной культуры для восьмого класса.

— Но это же XVIII век, самый умственный, в него не войти эмоционально.

— Так по плану.

— Почему такой план?

Нет ответа.

Я пыталась организовывать в школах искусств области театральные отделения, эстетические. Кстати, в Москве мне дали программу по гриму для учеников первых-вторых классов. Там детям сообщали, что кожа бывает разная, в том числе увядающая. Я выбросила эти листочки в помойное ведро.

Могу сказать, что в Петербурге всё-таки удалось найти единомышленников. И несколько лет подряд у нас преподавался специальный курс мировой художественной культуры для преподавателей музыкальных и художественных школ, на котором читали лекции и проводили практические занятия доктора наук, доценты наших художественных вузов.

У меня была мысль — создать институт детства, где по единому принципу обучались бы сначала молодожёны, потом молодые родители, воспитатели детского сада, школьные учителя. Финансовой умелости ни у меня, ни у Люси Шикуриной

не было. Хорошо, хоть не попались жуликам в лапы.

В девяностые годы я получила предложений перейти на работу в новые коммерческие учреждения больше, чем за всю жизнь. Как-то даже сказали, если я хочу — всем отделом. Не решилась. Так и осталась в областном учебно-методическом Центре культуры и искусства заведующей отделом повышения квалификации.

Толика стали печатать в периодике. Поэт Владимир Леонович, которому понравились стихи мужа и который позвал Толика в Москву участвовать в большом поэтическом вечере, познакомил его с организаторами Всесоюзного гуманитарного фонда имени Пушкина, и они сразу предложили издать его книгу и пригласили работать в фонде, быть в единственном числе директором их ленинградского филиала. Наконец-то он смог оставить нелюбимую и отвлекающую от стихов работу в библиотеке горного института.

В 1990 году вышла первая книга Анатолия Бергера «Подсудимые песни». Это название Толик сказал мне ещё в лагере, правда тогда мы не надеялись издать её в России. А вот вышла в Москве в издательстве «Прометей» и была распродана за две недели.

Поскольку у директора филиала не было подчинённых, и Фонд давал деньги только на печатанье книг, я назначила сама себя его заместителем на общественных началах и стала пытаться расширять сферу деятельности. В соседнем с нашей работой подъезде был обком комсомола. В один день там появилось 26 закрытых акционерных общества, среди которых и «Благовест». Я пришла к одному из новоявленных предпринимателей и попросила помочь нам организовать салон. Как я понимаю, он увидел в этом один из путей «отмывки» денег и согласился. И вот в театральном музее, в чудном маленьком зале стали собираться и пожилые, и молодые петербуржцы, А перед ними выступали писатели Москвы и Петербурга, ученые. Сергей Матвеевич Черкасов прочитал цикл лекций о последователях Фрейда, музыковед Борис Аронович Кац — о поэзии и музыке, философ Григорий Львович Тульчинский о мифах Петербурга.

Нам хватало денег только на оплату выступающих. Музей как своих пускал бесплатно, газета «Вечерний Ленинград» печатала информацию о планах салона. Пошли гайдаровские реформы, мы не повышали плату за билеты, чтобы интеллигенция могла посещать наши встречи. Удачей было то, что один из комсомольцев-предпринимателей Олег с большим интересом ходил на салон. Поэтому и на второй год он сумел выкроить те небольшие средства, которые позволяли продолжать начатое.

Когда же на третий год уже совсем не было финансирования, в гостях у моей сестры мы встретили новоявленного банкира.

— Помоги Лене, у неё такой интересный салон.

— Я уже помогаю театрам. Не могу. А сколько Вам надо денег?

Собравшись с духом, я сказала: — Пять тысяч.

— На сколько времени?

— На год.

Он рассмеялся и вынул эти деньги из кошелька.

Но в конце третьего года всё же пришлось распрощаться с салоном. Две молодые наши постоянные слушательницы, когда я объявила о закрытии, стали просить: «Скажите, что Вы пошутили». Но ничего уже нельзя было сделать.

Гуманитарный Фонд имени Пушкина издал и вторую книгу Анатолия Бергера — воспоминания «Смерть живьём». Но через несколько лет кто-то ушёл в коммерцию, кто-то отошёл от дел. Зарплату платить почти перестали. Издавать новые книги мужа не было возможности.

На моей работе мы как-то сумели войти в новые денежные отношения, как хорошо сформулировала Тамара Владиславовна Петкевич, без ущерба для духовной составляющей дела. Использовали открывшуюся свободу. Уже не писали липовых тем, искали и популяризировали новые методики, новых творческих людей.

Особенно я подружилась с преподавательницей музыкальной школы Санкт-Петербурга Кларой Нахимовной Гринштейн. Маленькая, чуть выше своих учеников, она умела заставить их почувствовать себя композиторами, и посему заниматься гаммами и теорией с увлечением. Она вела у нас цикл семинаров. Как-то нас вместе пригласили провести занятия в кисловодской музыкальной школе. Клара Нахимовна сначала думала, что меня командировали как контролёра. Но там, в поездке мы познакомились ближе, я дала ей воспоминания мужа, Клара проплакала всю ночь. С той поры полюбила Толину поэзию и всячески старалась помочь.

Я собрала небольшую книгу новых Толиных стихов «Стрельна». Муж Клары Юлиан Борисович походил по типографиям и сказал самую маленькую, но абсолютно неподъёмную для нас сумму, за которую её могут напечатать.

Приятельница папы назвала нам телефон людей, про которых знала только то, что они кому-то что-то издали. Почему-то я почувствовала — должно получиться.

Позвонила:

— Можно Владимира Боруховича?

— А кто Вы? Вы его хорошо знаете?

— А я его совсем не знаю.

Подошел Владимир Борухович, позвал Татьяну Ивановну. Я сказала, что хотим издать книгу поэта, назвала фамилию. К этому времени по радио уже было несколько передач о муже, очень большая статья Льва Сидоровского. Видимо, фамилия показалась знакомой.

— Приходите завтра.

— Завтра не могу.

— В понедельник.

— Понедельник 8 ноября.

— Во вторник.

— Татьяна Ивановна, скажите сразу, сколько это будет стоить. Если много, мы не сможем.

— Нет, если это наш поэт, напечатаем быстро и дёшево.

Нас встретили два высоких человека. Два компьютерщика. Они создали свою контору, печатали этикетки и прочее, но хотели издавать хорошие книги, готовить виртуальные экскурсии по музеям.

Когда они познакомились с мужем, рассказали ему, что они хотят выпускать, почувствовали его образованность, то тут же решили издать бесплатно его книгу и предложили стать главным редактором их издательства «Интерстартсервис».

Книга была выпущена за месяц. И на презентации встал Владимир Борухович:

— Анатолий Соломонович — остановился и процитировал Толину строчку: «Убегает Мойка длинно в петербургский гул». Спасибо Вам, — и сел.

Это была работа, о которой Толик мог лишь мечтать. Он готовил к изданию двухтомник Тютчева, написал статью о поэте. Стал, осуществляя своё давнее стремление, собирать материалы для книги «Современники о Ходасевиче». Но владельцы этого издательства, как это часто бывало в те годы, прогорели и, спасаясь от долгов, бежали за границу, никого не предупредив заранее. С трудом удалось выручить свою трудовую книжку. Хорошо, что подготовленный к печати том о Ходасевиче остался у нас. И Толик лишь через несколько лет смог издать эту книгу в издательстве «Алетейя». И хоть владелец «Алетейи» нагрел мужа, практически ничего не заплатив, важно, что этот единственный и до сего времени свод воспоминаний о любимом Толином поэте увидел свет Сейчас у мужа вышло уже 10 книг. Я составительница всех его изданий. Присоединяясь к Маяковскому, который писал это, лукавя, хочется с полным правом повторить слова: «Мне и рубля не накопили строчки».

Несколько лет тому назад, когда мы были в Германии, Толю пригласили выступить в Вене на двуязычном салоне. Он читал по-русски, наша приятельница Наташа Станевич переводила. Присутствовала графиня Разумовская, прямой потомок Алексея Разумовского. Высокая, статная дама. Она написала биографию Цветаевой, перевела на немецкий несколько цветаевских стихов.

Когда кончились выступления и мы разговорились, она задала четкий вопрос:

— Вам стало легче?

— Нет, но книги выходят.

— Но это же самое главное.

Этими словами мне и хочется кончить свой биографический очерк.

Перебирая старые фотографии

Вот бабушка совсем молодая. Сейчас она ещё Анюта Ойзерман. Отец её был купцом первой гильдии, поэтому семья имела право жить в Санкт-Петербурге. Детей у моих прабабушки и прадедушки было 13. 11 сыновей и две дочки. Бабушка была из младших. Поэтому когда моя мама вспоминала своего дедушку, в её рассказах он всегда представал почтенным старцем, живущим в доме своей обособленной жизнью. От дела он уже отошел. Им занимались старшие сыновья. А он считался цадиком (т. е мудрецом), ходил в синагогу, собирался с такими же, как он, седобородыми стариками. Вместе читали и толковали Тору.

В дедушку моя бабушка влюбилась в 13 лет. Он был братом её гимназической подруги. Уже студент. Как бы расшалившись, девочки «втанцевали» в комнату Григория. И сестра сказала: «Знакомься, Гриша. Это моя подруга — мадемуазель Ойзерман». Начались встречи, переписка. Нельзя сказать, чтобы семью Анюты радовал такой ранний роман. Однажды её даже заперли в комнате и отобрали одежду. Она одела длинную юбку своей тети, вылезла из окна, спустилась по дереву и побежала на свидание.

Не знаю где стоял тот дом, который бабушка покидала таким экстравагантным способом. Но вот на карточке, где дедушка, бабушка, моя мама (старшая — Оля) и её сестра Ида, деревянное дачное строение. Мама рассказывала, что семья постоянно снимала в Усть-Нарве дачу Милинга. Но когда через много-много лет мы пытались найти её, и спрашивали жителей предполагаемого района, наши усилия оказались тщетными. Помнила мама, что они переплывали на лодках через реку, шли на мельницу, и там их кормили свежими булками с молоком. А ещё няня водила их с сестрой гулять на площадь перед курзалом. Там танцевала местная молодёжь.

Дедушка был способным математиком. В петербургский университет он поступил, пройдя пятипроцентную норму, которая была установлена для евреев. Принял участие в студенческих волнениях и был исключён из университета.

— Папа, ты, оказывается, был такой прогрессивный, —

сказала мало что понимающая в политических делах Оля.

— Никакой я не прогрессивный. Все выходили, кроме белоподкладочников. Исключили, правда, только евреев.

Гриша поехал в Киев, опять сдал экзамены, опять прошёл пятипроцентную норму.

Через много-много лет мама встретилась с двумя немолодыми женщинами, до войны окончившими ленинградский технологический институт, и они вспоминали, как все студентки их курса были влюблены в красивого преподавателя математики Григория Яковлевича Моделя, маминого папу.

Мама пошла работать в 16 лет. Поступила в бюро стенографисток. Во главе стояла такая решительная рабфаковка. Решила — раз к ним пришла такая молодая, надо посылать учиться. Оля выучилась. Стала работать хорошо и с интересом. Её посылали стенографировать собрания писателей, кинематографистов, театральных деятелей. Когда я, уже студенткой театроведческого факультета ЛГИТМИКа, работала в театральном архиве, увидела на каждой странице записи обсуждения спектакля в БДТ свою фамилию — Симонович, и только спустя какое-то время поняла: это же мамина стенограмма.

Зарабатывала мама хорошо. Была модницей. Прекрасно танцевала. С друзьями организовали клуб «ДВФ» — даешь веселье и фокстрот. Ходили в ресторан гостиницы Астория на файф-а-клок. И когда в моду вошел чарльстон, мама постоянно открывала танцевальный вечер.

Папа родился на Украине, в Донбассе, посёлок Константиновка.

Дедушка был бухгалтером на шахте. Отец помнил, как в посёлок входили то красные, то белые. И однажды белые поставили дедушку к стенке.

Но две соседки — красивые молодые дамы — кинулись на защиту: «Господин офицер! Как Вы можете безобидного старика». И офицер отступил.

Папа был самый младший. Брат и сестра старше его на 10, 9 лет. Брат убежал из дома, пристав к гастролирующей театральной труппе. Потом учился в Москве. Работал актером в театрах Ленинграда.

Александр в школьные годы тоже играл в самодеятельности.

Ставили они пьесу Луначарского «Королевский брадобрей». Папа играл короля. Но после школы поехал в Ленинград, поступил в экономический институт. Стал работать и очень быстро продвигаться по службе.

С мамой их познакомил общий приятель. Встретились на углу Владимирского и Невского. Договорились снова повидаться на вечеринке. Мама пришла раньше, сама открыла папе дверь: «А я Вас жду». И всё. В этот вечер уже целовались за печкой. Скоро поженились. Но жить было негде. У мамы и тёти была общая комната. Сначала переехали в гостиницу «Октябрьская». Потом папа бросил свою хорошую работу и пошел в отдел снабжения тюрьмы, чтобы получить служебную комнату.

В 1937 году дважды нависал над ним Дамоклов меч. Он работал начальником отдела комбината мощного радиостроения, которым руководил академик Минц. Сначала у них были очень хорошие отношения, наша семья жила уже тогда на Невском, 88, и Минц брал папу в свою служебную машину по дороге на работу. Но потом случился конфликт, Александр Михайлович Симонович уволился с комбината, а через две недели там арестовали всё руководство. На заводе же, куда он поступил, все руководство арестовали через неделю после его прихода. Его, как новичка, не тронули. Повторюсь, что это был «тридцать седьмой тот лобный год», по словам поэта Анатолия Бергера.

Мама с папой прожили вместе 58 лет.

Душа в душу, в любви и согласии.

Елена Фролова

* * *

Воспоминаний не унять,
Жизнь длится словно бы двойная —
Мордовия, Сибирь — опять
Я вспоминаю, вспоминаю.

Тюрьма колёсная — этап,
Давай, гони без передышки
Из лагерных колючих лап,
Оттуда, где заборы, вышки,

Сквозь пересылок маету,
Сквозь крики солдатни конвойной —
В деревню, в ссыпку, да не ту,
Не царскую — будьте покойны.

За мигом миг и день за днём,
А что забыл вдруг — то приснится,
С настырной памятью вдвоём

Мелькает жизни небылица.

2009

* * *

Набежала отовсюду,
Облегла со всех сторон…
Эту белую причуду
Помню веку испокон.

От башкирского барака,
В Заполярье островка,
Лагерей мордовских мрака
До тебя, Туба-река.

Петербургское глухое
Полузимье, полумгла —
До весны подать рукою,
Да вот осень обошла…

Помню, помню — рифмой зоркой,
Сном, где вьюги вьётся сеть,
Деда давней проговоркой:
«Не зимой бы умереть…»

2007

* * *

Сибирь припоминается без меры,
Сибирь, к которой был приговорён —
А всё-таки вошла в мои размеры,
Моей строки разбег, и гул, и звон.

А всё-таки не зря в той коренастой
Избушке Богоматерь за стеклом
Светила мне, как некий свет прекрасный,
Что чудился в далёких снах, в былом.

А кот мурлыкал, бормотали куры,

Позвякивало на цепи ведро,
Подсолнухи качалися понуро,
Зелёный лук гнал вверх своё перо,

Хозяйка, притулившись на крылечке,
Картошку обстригала аж под ноль,
Шёл зыбкий пар из чугунка на печке,
А на столе стояли хлеб да соль.

И духовитая дымилась банька,
Снег покрывал всю землю на Покров,
Который век уж, впрямь, как Ванька-встанька,
Вставала Русь гнать во поле коров,

И на Тубе трещали льдины грузно,
И по тайге летели листья вширь,
И я не думал, не гадал, что грустно
Ты будешь вспоминаться мне, Сибирь.

1975

* * *

Сибирь, Курагино, зима.
Туба замёрзла, затвердела…
А всё же ссылка — не тюрьма,
Хоть власть об этом не радела.

И здешний — не тюремный люд,
Хоть и знаток того жаргона,
Как выпьют — песни запоют
В дыму махры и самогона.

Про Стеньки Разина челны —
Не про колымские зачёты,
Такие, знаешь, певуны,
Говоруны такие, что ты…

2004